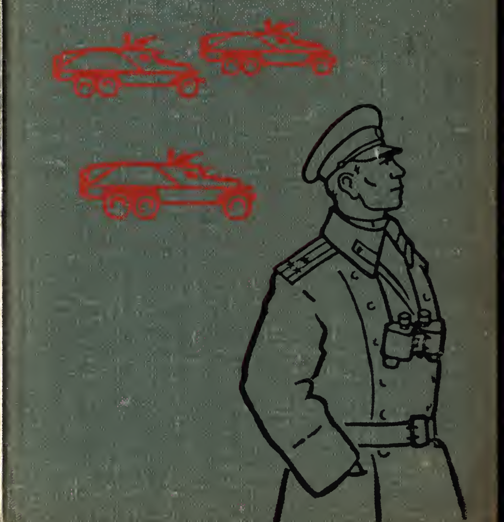
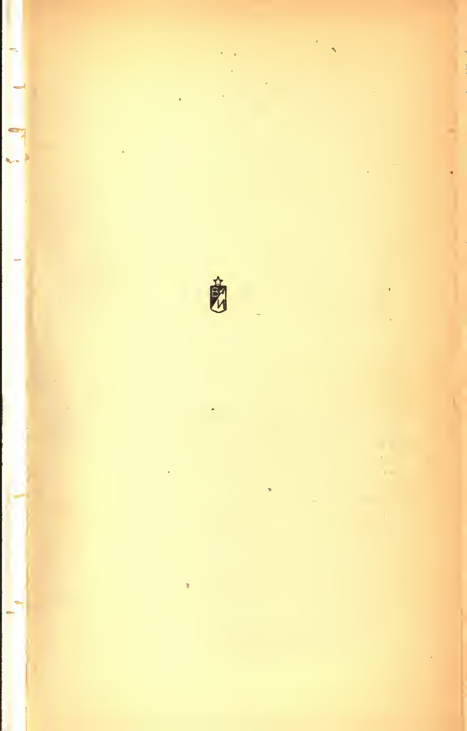
НИКОЛАЙ НАУМОВ

ПОЛКОВНИК ГОРИН









НИКОЛАЙ НАУМОВ

ПОЛКОВНИК ГОРИН

ПОВЕСТЬ

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва • 1971

Р2
Н34

Наумов Н. Ф.

Н34 Полковник Горин. Повесть. М., Воениздат, 1971.

216 с.

Писатель Николай Наумов работает над произведениями о современной жизни армии. Этой теме были посвящены его роман «Бои продолжаются» и повесть «В строю», выпущенные Военным издательством. Новая повесть Н. Наумова «Полковник Горин» также рассказывает о людях современной армии. Острая, напряженная борьба за совершенствование человека, воспитание подчиненных и воспитание самих воспитателей — вот что составляет основу острого сюжета, в котором рельефно раскрываются созданные автором образы. Все, что рассказано в повести, подкупает своей правдивостью, глубоким знанием армейской жизни, смелостью поставленных проблем, к решению которых автор стремится привлечь и читателей.

Удачей автора являются созданные им образы командира дивизии Горина, его заместителя по политической части полковника Зюбина, ряда других офицеров и солдат.

7-3-2
162-71 Р2



1

Узким сумрачным проходом женщина в черном вышла к надвигавшемуся паровозу. Остановилась, о чем-то подумала или с кем-то простилась и бросилась под колеса...

Зажегся свет.

Зрительный зал слабо шелохнулся. Из печального раздумья его вывел лишь грохот тяжелых гардин, распахнутых уставшими билетершами. Люди встали и молча направились к выходам.

Остались уже одиночки, когда поднялась последняя пара. Сначала он — медленно и все еще отрешенно, затем она — устало и горестно. Но вот он пропустил мимо себя жену, которая рядом с ним, подобранным и легким, казалась полной и пожилой, и в его коротком мягком шаге появилась та внимательная собранность, будто ему через минуту предстояло сделать что-то такое, что не допускало не только оплошности, но и намека на нее.

Как только они появились в фойе, женщины прервали разговоры, некоторые приветливо заулыбались. Мужчины, особенно в форме, наоборот, подтянулись, убрали с лиц все, что, по мнению того, кому они привычно осво-

бождали проход, хотя он был в штатском, могло выглядеть лишним или неуместным и вызвать в нем неодобрение или молчаливый упрек.

Когда полковник Горин и его жена миновали массивные белые колонны Дома офицеров, она взяла его под руку и предупредительно спросила:

— Ну как, Михаил?

— Как? — Горин приподнял аккуратно подстриженную голову с дымчатыми от густой проседи висками, будто прислушиваясь к тем звукам, которые вызвала в нем картина, и довольно ответил:

— Лучше, чем ожидал.

— Фильм или Анна?

— Анна. В ее игре есть хорошая неожиданность.

— А по-моему, Анне — Самойловой недостает мягкости, раздумий и колебаний. И еще... самоосуждения порока.

— А сцена после родов?

— Приближение смерти роженицы чувствуют немного иначе, — ответила Мила. И, вздохнув, добавила: — Они знают виновника своей смерти и не могут даже упрекнуть его: они хотели его, дали ему жизнь. И, умирая, думают лишь о том, как он будет жить без них. Ох, как трудно видеть их безутешные слезы, переносить свое бессилие.

Несколько шагов прошли молча.

— Как твое мнение о Вронском? — снова спросила она.

— Слишком современен. И совсем не понимает военных людей, — с жесткой досадой ответил Горин.

— Строго, — помедлив, отозвалась она.

— Вронский — князь, офицер. О любви он не просил, он объявлял о своей и требовал ее от женщины.

— О, не подозревала в тебе такой опытности.

— Львиная, — усмехнулся Горин. — Когда приходил в клуб академии на танцы, один-два вальса, и ...или я ей становился пресен, или она мне скучна.

— Насколько я помню, говорить ты умел. По меньшей мере половина медсестер полка с надеждой поглядывала на тебя.

— Худшая.

— А Залесская?

— Исключение. И потом — к ней был благосклонен командир дивизии. Соперничать с начальником-старичком...

— Он был моложе, чем ты сейчас! — с уступчивой улыбкой в черных тюркских глазах возразила Мила.

— Ну... У него и бородка была и брюшко.

— Но ни одного седого волоса.

— Видимо, и меня уже относят к старикам.

— Студенты и пионеры — конечно. Ну, а женщины, которые только что не спускали с тебя глаз...

— Не подслащивай пилюли, женщины улыбались только тебе, — думая уже о чем-то другом, сказал Горин.

Мягкие, удивительно знакомые аккорды вырвались из открытых окон ярко освещенной квартиры и поплыли в недвижном темном воздухе. Горин хотел было остановиться, чтобы вспомнить передаваемую по радио, как он подумал, музыку, когда узнал квартиру и понял, кто играет на рояле — жена нового командира полка, Лариса Константиновна, на днях приехавшая к мужу. Играла она «Грезы любви» Листа.

Впервые эту пьесу и игру своей «тычи» [1] Горин услышал много лет назад в клубе академии, услышал и перестал ходить к ней на консультации, боясь, что может зайти разговор о ее выступлении на вечере, а он даже не знает, как называется вещь, которую она играла. В беседах с ней ему уже приходилось, краснея, сознаваться, что он не видел нашумевшего спектакля, не слышал Святослава Рихтера, восходящей тогда звезды. Выглядеть невеждой еще раз он не мог, как не мог тогда заглушить свое желание постоянно видеть ее, хотя вероятность привлечь к себе ее внимание была ничтожной. Много дней спустя он пошел в клуб и узнал там, что играла на концерте Лариса Константиновна Санникова. Потом нашел пластинку и крутил ее, пока томительная и гордая мелодия не запомнилась до последнего звука.

Сейчас в «Грезах» он услышал несколько фраз, проигранных словно через силу, и Лариса Константиновна представилась ему глубоко уставшей или чем-то подавленной. «Может быть, тем, что я отказался прийти в ее дом сегодня?» — подумал он. И ему стало неудобно и тесно в своем привычном, давно обношенном костюме.

Когда мелодия затихла, у Горина возникло сомнение, его ли поступок так повлиял на настроение Ларисы Константиновны. Помнит ли она его вообще? Прошло шест-

[1] teacher — преподавательница *(англ.)*

надцать лет, как они встретились в последний раз на выпускном вечере. Позже у нее учились сотни таких, как он. Скорее всего, едва ли.

Как ни оправдывали его пришедшие в голову слова, ощущение вины не проходило: отказ прийти к ней на ужин она могла расценить как намерение держаться от нее, жены его подчиненного, подальше; услышать такой упрек, тем более от нее, для него было неприятно.

— Михаил, — прервала молчание Мила, — я забыла тебе сказать. Перед твоим приходом домой звонил Павел Самойлович. Мне показалось, его озадачило, почему Аркадьев не пригласил тебя на ужин.

— Я отказался.

— Почему? — удивилась Мила, зная, что муж, если дела у командиров полков шли как следует, не отказывался от их приглашений.

— Видишь ли, Аркадьев всего второй месяц в дивизии, я мало знаю его, он — меня. Потом... приглашение было сделано с какой-то лейб-гвардейской изысканностью...

— Тебе это не нравится?

— Да нет. Просто к нам она не особенно идет.

— Ты, кажется, недоволен Аркадьевым?

— Просто я не узнал его еще в деле.

Мила задумалась, и Горин предположил, что жена уловила в его словах недоговоренность, из которой она может сделать вывод о другой причине, заставившей его воздержаться от приглашения прийти в гости. Здесь, в маленьком городке, Миле все равно станет известно о его давнем знакомстве с Ларисой Константиновной, о котором за многие годы он не обмолвился ни словом. И она с болью поймет, почему он приехал к ней только после окончания академии, так вымученно сделал предложение и потом долго был в сущности чужим ей и дочери. Обижать жену, подвергать опасности установившееся в семье согласие он не хотел, и, чтобы облегчить со временем объяснение с женой при возможных обострениях с Аркадьевым или у Аркадьевых, к которым могут примешать и его, он с запинкой признался:

— Потом... я был знаком с Ларисой Константиновной. В академии она учила меня английскому.

— И только?

— Не совсем...

Впереди послышались громкие голоса — из-за угла вывалилась ватага парней.

— Да, синячок у тебя, Валя, сияет, что неоновая лампа, хоть транзистор собирай, — подзадорил кого-то парень, шагавший перед товарищами.

— А у него два, если не больше: встретится еще, я из него отбивную сделаю.

— А если к нему подчиненным попадешь? Осенью ведь петь: «Последний нынешний денечек...»

— Что ж, и там сумею обвести и провести.

Ухарски злые слова парня кольнули Горина, он остановился, чтобы заговорить с ребятами, но они свернули во двор.

— Ты что? — спросила жена.

— Хотел кое-что узнать, — уклонился Горин, услышав в голосе жены настороженность.

— Стоило ли?

— Завтра они солдаты.

— Завтра и поговоришь.

В гостиной, освещенной полным светом, прямо перед дверью стояла дочь. Несмотря на поздний час, она была в белом коротком платье с кружевной отделкой по вырезу. В независимом повороте головы и острых плеч, между которыми хрупким мостиком пролегли ключицы, родители увидели новую для них черту в дочери — вызывающую резкость.

— Что случилось, Галя? — первой спросила мать.

— Я жду папу! — упрямо объявила дочь, считая, что этих слов вполне достаточно, чтобы понять, кому она намерена задать вопросы и от кого получить ответ.

Михаил Сергеевич пальцами коснулся плеча жены — помолчи, так будет лучше. Прошел к столу, повесил пиджак на спинку стула, сел на диван и только тогда посмотрел на дочь — можешь спрашивать. Поняв молчаливый упрек отца, Галя заговорила сдержаннее:

— Папа, тебе уже доложили?

— О чем?

— О драке в городе.

— Нет. На улице мы сейчас слышали о какой-то драке.

— Наверное, о ней. Но Вадим не виноват! — категорически заявила Галя, вскинув смуглое удлиненное лицо, с черными бровями, похожими на две сомкнутые арки.

Горин вспомнил названного дочерью офицера. Год назад он приехал сюда, на Дальний Восток, из Германии, а вслед пришло письмо из Бреста — нагрубил пограничникам, за что отсидел трое суток на гауптвахте. Когда предстал перед ним, Гориным, в красивой собранной стойке и доложил о себе с умной сдержанностью, даже не верилось, что такой офицер мог допустить безрассудную грубость. Свою вину признал неохотно, и тогда подумалось, что в беде офицера, вероятно, были повинны и пограничники, которые при досмотре не соблюли нужного такта.

Как судить теперь? Ввязался в драку с юнцом на виду у многих. Что это — вторая случайность или второй срыв? Скорее срыв: развязность мальчишки для офицера не очень веская причина вступать в драку. Видимо, не научился сдерживать себя. Старшему лейтенанту — пора бы. Или решил: будущему зятю командира дивизии все простится?

От такого предположения Горину стало досадно — кого собирается ввести в дом дочь! Неужели не задумывалась, каким чужим он будет в их семье? Кажется, нет. Он для нее — невинно пострадавший рыцарь.

— Участие в драке, Галя, красит офицера, только не той краской, — осторожно заметил Горин.

— Но могут же быть стычки за честь, за справедливость?

— По логике — могут. Только при соблюдении двух условий: участие в них должно иметь вескую причину и не создавать дурную молву об офицере.

Слова эти, кажется, были правильными. Но, вспомнив еще раз шумливую ватагу парней, Горин не смог сразу определить, как бы поступил сам, если бы к нему привязался тот, с лиловым синяком. И не дожидаясь согласия или возражения дочери, попросил ее рассказать о происшествии в парке.

— Мы шли по аллее. На одной из скамеек сидели ребята, и один из них так выругался, что Вадим просто не мог не сделать ему замечания.

— Как?

—«Не лучше ли оставить мать и бабушек спокойно греться на печках?» Только и всего. Но парень нахально засмеялся и подошел к нам. Вадим загородил меня, а когда тот нахал попытался заглянуть мне в лицо, Вадим уда-

рил его по физиономии. Началась свалка. Прибежали патрули и увели Вадима. Сейчас он уже, наверное, на гауптвахте. Это же несправедливо!

— В какой-то мере — да, если сквернослов остался безнаказанным.

— Его никто и не задерживал. Ты имеешь основание освободить Вадима.

— Если офицер уже на гауптвахте, изменить наказание не в моей власти.

— Разъясни тому, кто арестовал Вадима, и пусть он освободит.

Горин пристально посмотрел на дочь. Как для нее все просто: ошибка того, кто наказал Вадима, очевидна — ее надо исправить. И немедленно. А если Вадима арестовал командир полка, Аркадьев?

— Сначала узнаем, Галя, где находится сейчас твой подзащитный, а потом уже будем думать, как ему помочь.

Горин позвонил дежурному по дивизии. Да, Светланов уже на гауптвахте. Получил десять суток от командира полка, полковника Аркадьева. Конечно, Аркадьев может согласиться освободить Светланова, особенно если совет примет за приказ — в военной жизни грань между ними довольно условная, не всякий ее различает. А что потом? Не воспримет ли новый командир полка такой совет как меру отношения к проступкам: если за разгул кулаков предлагают смягчить наказание, значит, на другие, помельче, можно смотреть сквозь пальцы? Может подумать и хуже: провинившийся — знакомый дочери командира дивизии; выходит, ее встречи с ним комдиву нужнее равенства всех перед уставом.

А как истолкует скорое прощение вины его подчиненный? Не попытается ли таким же образом наводить порядок еще раз? И еще, освободи Светланова — в городе начнутся пересуды, ведь мало кто знает, из-за чего началась драка. Главная пища для разговоров — военный первым пустил в ход кулаки. И клеймить будут не Светланова, фамилию которого едва ли в городе знают, а старшего лейтенанта, офицера.

И тут же пришли иные доводы. Причиной проступка офицера послужило желание оградить девушку от хулигана. И поспешность, с которой Светланов был отправлен на гауптвахту, им может быть расценена как формализм,

как трусость, вызванная намерением побыстрее отреагировать на происшествие и тем избежать упреков. От таких предположений горячей голове недолго военную службу возненавидеть.

А дочь? Кипит, убеждена — Светланов не виноват и его надо освободить, освободить немедленно. Но освободить, тем более немедленно, нельзя. Сможет и захочет ли она понять, как непросто выполнить ее требование?

Как ни хотелось Михаилу Сергеевичу помочь горю дочери, из всех решений, что приходили в голову, лучшим казалось такое — пусть Светланов пока посидит под арестом: оно не ставило под сомнение справедливость решения командира полка, а старшему лейтенанту позволяло хорошо обдумать происшествие в парке и понять свою вину. И он попытался хотя бы убедить дочь, что иначе поступить сейчас невозможно.

— Скажи, Галя, как ты восприняла упрек, брошенный Светлановым ребятам? — после несколько затянувшегося молчания спросил Горин.

Галя приспустила брови-арки. Представив завязку ссоры, она вспомнила, каким голосом Вадим произнес, вернее, бросил замечание ребятам — небрежно-презрительным, с угрозой, — и решимость ее защищать пострадавшего убавилась.

— Пожалуй... оно было резким по тону.

— Так. Тебе было приятно смотреть на драку?

— Нет.

— А как отнеслись к ней окружающие?

— По-разному.

— Значит, были недовольные?

— Да, кто не знал, из-за чего она возникла.

— Теперь представь, сколько горожан с их слов завтра будут судить о драке. Судить, то есть осуждать офицера за то, что он первым поднял кулак на мальчишку.

— В городе выходит газета; в ней можно напечатать статью, объяснить.

— И тем привлечь к этому некрасивому случаю внимание еще большего числа людей?

Галя вскинула острые плечи.

— Выходит, что во имя высшей справедливости Вадим должен сидеть на гауптвахте, в тюрьме! Это же позор!

— Согласен.

— И ты не заступишься за пострадавшего?!

— Нет.

— Почему?

Горин строго посмотрел в глаза дочери. Ей, скоро учительнице, пора бы знать, что не всегда удается определить наказание точно по вине.

— Иначе я поступить не могу. Если твой знакомый действительно умен, он поймет сложность своего положения и арест перенесет спокойно, если нет — может сломиться. О таких жалеть не следует: на войне они быстро никли и нередко приносили тяжелые беды.

Последние слова были произнесены с тем холодным спокойствием, которое было близко к жестокости, и Галя испугалась: конечно, Вадим сейчас мечется, завтра будет дерзить, и папа, в лучшем случае лишь ради нее, будет терпеть его в доме. Пораженная и растерянная, она едва слышно пробормотала:

— Его долго и несправедливо обижают недалекие начальники...

— Галя, не повторяй чужие слова, они могут быть не менее несправедливы. Твой отец — тоже его начальник.

Михаил Сергеевич развязал галстук, подошел к гардеробу и снова посмотрел на дочь; она показалась ему похожей на тонкую ель, на ветви которой легло слишком много снега: они обвисли, еще чуть-чуть — и деревце не выдержит, согнется, погибнет. И он несколько смягчился:

— Галя, ты можешь ответить на один вопрос?

Слова, голос отца были другими, мягче, добрее. В девушке затеплилась надежда.

— Да, папа.

— Ты любишь Вадима?

— Люблю, — без колебания призналась дочь. — Познакомились мы еще в прошлом году. Зимой он приезжал ко мне в Москву.

— Тебе в нем все нравится?

— Я сказала: люблю его.

Горин подошел к дочери, осторожно приподнял ее подбородок.

— Самая пылкая любовь не должна делать человека слепым. Надо видеть все, чем живет любимый. И не мириться с плохим. Иначе любовь может стать горем.

Когда легли спать, Горин рассказал жене, о чем говорил с дочерью.

— А со мной не захотела поговорить. Выходит, я для нее уже мало что значу.

В голосе жены Горин услышал обиду и попытался успокоить ее:

— Просто Галя решила сама, и немедленно, помочь своему избраннику. Ты же, наверняка подумала она, могла и не рассказать мне обо всем сегодня... Как там, спит наш командир? — переменил он разговор.

— Накомандовался — не смог снять рубашку.

— Не слишком ли любит командовать?

— Тебе подражает.

— Боюсь, привыкнет командовать — разучится дружить. Не пора ли юному полководцу побегать в рядовых?

— Если вдруг, для него будет слишком сурово.

— Лечение без боли — не всегда благо. Это, кажется, твои слова. Спи, тебе рано вставать.

Горин погасил большой свет, включил ночник. Попробовал читать, но через несколько минут положил книгу на одеяло, задумался. С лица постепенно сошла его обычная внимательная мягкость, и вскоре оно стало сосредоточенно-отрешенным и, как показалось Миле, почти чужим. Так обычно начинались бессонные ночи мужа. Изнурительная череда их шла чаще всего после неприятностей на службе. Но сегодня, кажется, ничего тревожного не случилось. Или огорчил выбор дочери? Нет, разговор они закончили спокойно. Что же? Не жена ли Аркадьева? О ней он что-то не договорил...

Михаил шевельнулся, и Мила замерла. Сквозь сомкнутые ресницы увидела, как он, стараясь не дышать, посмотрел на нее, бесшумно опустил ноги на пол, надел тапочки и осторожно вышел из спальни. Во всех его движениях было столько предупредительности, что возникшее было подозрение показалось надуманным, а недобрые поступки мужа — просто невозможными.

То, что Михаил думал не о Ларисе Константиновне, а о делах, подтвердил и его звонок к Знобину.

— Павел Самойлович, не спишь? Тогда прошу, поднимись ко мне.

— Опять что-то надумал? — еще на пороге спросил Павел Самойлович, не меняя довольного выражения

своего широкого лица, исполосованного крупными, как пласты целины, складками и морщинами. Пройдя к креслу, довольно плюхнулся в него.

— Что так подозрительно смотришь на меня? — Знобин с усмешкой откинул со лба тяжелые, будто пропитанные солью, длинные пряди волос. — Выпил, и с большим удовольствием. А хозяйка — какая женщина! На что уж моя уверенная и переуверенная во мне и то шикнула — глазей да знай приличие. Между прочим, Лариса Константиновна спрашивала, почему вы, ее талантливый ученик, не соизволили прибыть к ней на ужин.

— Чем же она тебя очаровала? — поддаваясь веселому настроению своего замполита, спросил Горин.

— Редким сочетанием красоты, ума, музыкальности и, как тебе сказать поточнее, скромной неприступности. Даже Амбаровский, наш моложавый генерал, и то не получил больше, чем все мы, смертные. Единственный, на кого она смотрела с чуть большим любопытством, — это... наш Георгий Иванович. Как он спел под ее аккомпанемент!

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило...

Павел Самойлович пропел строки романса приглушенным басом и, когда не хватило голоса, потряс над головой раскрытыми руками.

— Георгий Иванович?!

— Да, наш начальник штаба.

— Что ж... сожалею. Но, как она играла «Грезы» Листа, я слышал. Когда проходил мимо.

— А, — вдруг помрачнел Знобин. — Это после того, как Аркадьев объявил: «Всей моей властью!»

— Да, я уже знаю. Это он своему офицеру, который в городском саду ввязался в драку.

— Номер почти цирковой.

— Во всяком случае, редкий. При мне такого еще никто не выкидывал. Как думаешь, не является ли это сигналом приближения неприятностей?

— Расскажи, как все произошло.

Горин пересказал то, что услышал от парней на улице и от дочери. Знобин глубоко затянулся дымом папиросы, прикрыл большие пытливо-внимательные глаза. Минуты две сидел неподвижно, хмурый, недовольный.

— Раз перед тем как пустить в ход кулаки офицер не

подумал о полке, о его добром имени, — срыв можно считать не случайным. А отсюда напрашивается и другой вывод: люди, может быть, начали терять веру в нового командира полка, а возможно, уже и разочаровываются в нем.

— Не слишком ли рано и строго судишь, Павел Самойлович?

— Может, и строго: не люблю, когда щеголяют волевыми качествами, — как о надоевшей болезни отозвался Знобин.

— Доклад дежурного, возможно, пришелся не ко времени. Потом, как и ты, выпил. Вот и сорвалось. — Горин возразил не столько для того, чтобы защитить Аркадьева, сколько чтобы продолжить разговор о нем.

— Выпить-то он выпил. Возможно, больше, чем следовало хозяину. И все же есть признаки, которые заставляют нас присмотреться к нему получше. Знаешь, предшественник его дослуживал и подзапустил полк. Люди ждали: новый командир полка избавит их от склонений на собраниях. Пришел, сильной рукой навел порядок, — на строгость никто не роптал, понимали: так надо. А сейчас по полку потащилось какое-то уныние. Проступок Светланова, думается, имеет с ним связь. Может быть, проверить Аркадьева — случай представился?

— Опасно, в дивизии он — новый, можно лишить уверенности, а без нее он — не командир, полк — не сила.

— Как же думаешь разбираться с сегодняшним ЧП? Оно — у него.

— Надо подумать. Ввязываясь в драку, Светланов, вероятно, был убежден, что поступает правильно. Так же был уверен и Аркадьев, когда накладывал на него взыскание.

— Определить, кто из них насколько ошибся, думаю, часть дела. Надо, чтоб вину и беду поняли в полку, особенно молодые офицеры.

— Как? Справедливость наказания под сомнение не поставишь.

— Но почему бы нет, если оно неверно, если дело, судьба человека этого требует. — Знобин выпрямился, как бы приготавливаясь к схватке.

— Аркадьев — командир, командир полка! Подчиненные должны верить каждому его слову, — недовольно проговорил Горин, стараясь подчеркнуть невозможность

осуждения действий командира на собрании, что уже не один раз пытался испробовать Знобин.

— Вот так и рождаются непогрешимые в собственном мнении. Это хорошо? — не сдавался Знобин.

— А командир с оглядками лучше?

— Извини, но наивно думать, будто вера подчиненных в командира может быть создана только речами о его безупречности. Ум, дело, справедливость в требовательности — вот ее основа. И допусти он не одну ошибку, но отнесись к ним серьезно, честно, вера в командира только возрастет.

От возбуждения тяжелая прядь волос упала на морщинистый лоб, и Знобин недовольно откинул ее назад. Горин подождал, пока замполит достанет папиросы, и только тогда возразил с мягкой иронией:

— Мысль твоя, Павел Самойлович, хорошая. Только мы пока не знаем, способен ли Аркадьев воспользоваться ею. Скорее, его нужно дотягивать до нее.

— О ЧП надо говорить с людьми. Говорить прямо и откровенно. Они не маленькие и понимают, что хорошо, что плохо, — отрывисто проговорил Знобин и стал хлопать по карманам, разыскивая спички. — Поэтому, если не возражаешь, я готов поговорить с молодыми офицерами полка, товарищами Светланова. Во многом от них зависит, повторится ЧП или нет. Обещаю, авторитет Аркадьева не будет задет.

— Нет, — склонив начавшую уже седеть голову, не согласился комдив. — Со своими офицерами поговорит сам командир полка.

— А если разговор у него не получится?

— Постараюсь поправить. Мне хочется посмотреть его среди подчиненных.

— Ну что ж... — с сомнением проговорил Знобин, раскуривая папиросу. В его голосе Горин услышал упрек себе и сказал:

— Для тебя более сложная задача — побеседовать со Светлановым. Завтра же, на гауптвахте. Понимаешь, он знакомый Гали. Она любит его. Думаю, что мой разговор с ним с самого начала может зайти в тупик и окажется холостым выстрелом.

— Все понял. Если после моего разговора избранник Гали исправится, приятно ей будет или нет, но я буду у нее на свадьбе.

2

Знобин открыл узкую дверь и остановился на пороге. В комнате с единственным окном — сумрачно и свежо, песмотря на солнечное утро. Две откидные койки уже подняты и прикреплены замками к стенам, окрашенным до середины густой веленой краской. В самом центре комнаты — квадратный стол, исцарапанный запутанными линиями, два крепких толстоногих табурета, до блеска отполированных непоседливыми ее обитателями. Арестованный стоял в правом от входа углу, и Знобин не сразу его заметил. Пестро-карие глаза Светланова зло царапнули Знобина и уперлись в решетку на окне.

Полковник снял фуражку, положил ее на стол и, взяв табурет, сел в трех шагах от офицера. Еще минуту назад вызывающе-самоуверенный, Светланов, оказавшись как бы запертым в углу, зябко повел прямыми плечами.

— Пришел с вами познакомиться. Извините, что так бесцеремонно веду себя в вашем убежище. Я немолод, неважно спал. К тому же, видно, все равно не дождался бы вашего приглашения сесть, его, думаю, не последовало бы.

У Светланова лишь снисходительно шевельнулись плотно сжатые губы: вступление к разговору, на его взгляд, было заурядным. Знобин, будто не заметив дерзкого молчания офицера, хозяйски обвел взглядом жилище арестованного.

— В который раз в подобных местах приходится обдумывать свои поступки?

— В строю — третий.

— А в училище?

— Шалости детства не считаются.

— А я думал, человек, принявший присягу, независимо от возраста сразу начинает отвечать за свои действия. — И, сменив иронию на повелительный тон, сказал: — Берите табурет, садитесь; нам, видимо, придется долго беседовать.

Под прищуренным взглядом серых требовательных глаз замполита Светланов хотел было сделать шаг к табурету, но, поняв, что это означало бы начало отступления от того, к чему пришел в раздумьях ночью, он упрямо поднял голову и небрежно возразил:

— У меня ноги гандболиста — два часа могу бегать

за мячом. Беседа наша, надеюсь, не затянется на более длительный срок?

— Это будет зависеть скорее от вас, чем от меня. С неумными людьми обычно приходится говорить дольше... В каком часу легли спать?

— Как следует понимать вопрос: как проявление заботы о моем здоровье или просто как подход к существу дела?

— Ни то, ни другое. Предпочел, чтобы вы всю ночь ходили по камере и думали... — И не дав офицеру что-либо возразить, продолжил: — О вашем проступке мне известно от человека, который не хочет вам худа, даже наоборот, очень желает добра... Скажите, как вы оценили ваш вчерашний проступок?

— Вы хотите, чтобы я его осудил?

— Прежде всего, чтобы хорошенько в нем разобрались. — Знобин посмотрел, как отнесется к его замечанию Светланов, и добавил: — Тогда и судить и рядить легче...

— Я пока не стал бюрократом, чтобы разбираться в том, что совершенно очевидно.

— И все же...

— У Пушкина есть изречение: если на улице шалун швырнул в тебя грязью, смешно вызывать его биться на шпагах, — его надо просто поколотить.

Знобин не помнил, есть ли у Пушкина такое изречение, но, судя по старомодному чередованию слов и той уверенности, с которой их произнес Светланов, есть. От неловкости, в которую его поставил подчиненный, умные внимательные глаза Знобина озадаченно остановились на лице собеседника. Не отрывая любопытного взгляда от молодого офицера, замполит постукал кончиками пальцев о пальцы, стараясь определить, почему так вызывающе ведет себя старший лейтенант. Не понимает разницы в их положении, забыл о дисциплине? Не похоже. И смышлен. Говорит остро, классиков знает не по школьной программе, читает и перечитывает. Выходит, пришел к какому-то решению и намерен упрямо держаться его. К какому же? Ответ не находился, и Знобин склонился к тому, что надо изменить тон беседы, чтобы, если не сбить со Светланова его браваду, то хотя бы помочь ему понять, где его благородство обернулось хулиганством. Только как это сделать, если он, оказывается, умеет давать такие зуботычины, от которых не сразу со-

берешься с мыслями. Вот ведь надо, обязательно надо, и как можно быстрее, опровергнуть кажущуюся убедительность его ссылки на Пушкина, а в голову ничего не приходит.

Знобин достал папиросы, предложил Светланову. Тот отказался, найдя этот прием расположить к себе собеседника слишком уж изношенным. Тогда полковник выбил из пачки папиросу, ловко схватил ее на лету узловатыми пальцами с большими круглыми ногтями и, закурив, добродушно сознался:

— Да... цитатой из Пушкина вы такой ров вымахнули, что теперь и не знаю, перенесут ли меня к вам мои старые ноги. Но попробую. Скажите, о чем вы подумали перед тем, как пустить в ход кулаки? Или вспомнили Пушкина и — парню в зубы?

— Какое это имеет значение?

— О-громное!

— Не понимаю. Я обязан был защитить девушку от сквернословия и сделал это.

Знобин добродушно усмехнулся:

— Ну, а реально оценивая, до или в ходе потасовки она больше услышала матюгов?

— Я не понимаю цели вашего визита. Если вы намерены преподать мне урок хорошего тона и сделать из меня человека, который ради того, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не положил на его офицерский мундир пятнышко, будет обходить все опасности, — бесполезно. И еще хуже, если вы ждете от меня раскаяния, чтобы можно было отрапортовать: воспитательная работа проведена — личная беседа по душам, — допустивший ЧП на пути к исправлению.

— Без шуток скажу, — намеренно не обращая внимания на дерзость, ответил Знобин, — мне не безразлично, что вы будете думать обо мне, когда я уйду отсюда. Цель же моя — сделать вас бойцом, а не драчуном. Улавливаете разницу между тем и другим?

— Как же все-таки я должен был ответить на поступок хулигана? — не отвечая на вопрос, упрямо спросил Светланов.

— Девушку нужно было защитить! — Знобин повысил голос, чтобы Светланов не решил, что уже выиграл бой. — Но так, чтобы о нас с вами по городу пошла не дурная, а хорошая молва.

— Не вижу, как это можно было сделать в той ситуации...

— Перед дракой хотя бы попытались, черт возьми, предупредить хулигана, взглянули б на него построже, нахмурили брови. Иначе — надо было сначала подумать, поискать лучший выход из положения... Не научили себя думать всегда и везде, вот и заработали ваши кулаки прежде головы. А вы командир, как же вы будете управлять людьми в бою без выдержки и терпения?

Светланов оттолкнулся плечом от стены, нервно выпрямился:

— После боя, сказал один мудрец, всегда виднее, какое решение было бы наилучшим. А другой мудрец изрек: «В бою смелость может превратиться в высшую мудрость».

— Но арабская пословица об этом же говорит лучше. «Смелость, не оберегаемая благоразумием, есть бешенство»! — с колючей усмешкой отпарировал Знобин и, чтобы окончательно поставить офицера на место, добавил: — А еще один мудрец сказал, что немного ума в том, кто изрекает только чужие мудрости.

От того, что Знобин, как ребенку, еще раз прощал ему дерзость, но тут же с мягкой точностью определял только кажущуюся глубину его мыслей и чувств, у Светланова перехватило дыхание. «А еще ночью ты скрежетал зубами от гнева на людей, которые из-за своей ограниченности не могут понять тебя. Поняли, и как! — взбесившийся болтун!» И хотя он не хотел и не мог с этим согласиться, Светланов не нашелся, как ответить на беспощадные слова полковника. Обещаниям он не поверит, а если и поверит, то не настолько, чтобы после скандальной истории помочь поступить в академию в этом году, без окончания которой служба в армии, дружба с Галей казались старшему лейтенанту невозможными. Нужны дела. Но что можно сделать за неделю или даже месяц? Значит, придется расстаться с мечтой учиться в Москве, ходить с Галей в театры, видеться с ней каждый день.

Прямые плечи Светланова опустились, руки повисли. Подавленный, он попросил разрешения сесть. Знобин подал ему папиросу. Тот не взял, а схватил ее и не отнимал пламени от папиросы до тех пор, пока не удалось набрать полную грудь горячего дыма. Вытолкнув его

через рот и нос, он тут же глубоко затянулся вторично.

— Так что же будем делать, старший лейтенант? — спросил Знобин, пытаясь отвлечь офицера от опрометчивого решения, к которому, судя по глазам, словно подавшимся из орбит, приходил тот. Но было уже поздно.

— Все... уже... сделано! — с трудом, будто ему приходилось с болью вырывать из себя каждое слово, проговорил Светланов.

— Именно?

— Место бешеных — лечебница для душевнобольных, а не академическая аудитория.

— Вы намеревались поступить в академию?

— И не раз.

— Что же мешало?

— Пустяк: в академию Фрунзе взводных принимают в порядке исключения. Таким исключением я не могу быть, потому что доставляю начальству одни беспокойства...

— Дальше?

— Дальше?.. — вскочил Светланов. — Дальше — рапорт об увольнении в запас! Служить в батальоне до седин не хочу!

Теперь уже вскочил Знобин. Не в силах сдержать себя, закричал:

— В запас?! Наступили ему на сухую мозоль, и он в кусты... А как бы ты поступил на фронте? На ту сторону, к противнику переметнулся?!

— Что вы?.. — побледнел Светланов.

— А оставить армию, когда Америка зажигает один запал войны за другим, это что, по-твоему?! Грудью на амбразуру или вовйте, а я посмотрю? Цена дезертирству одна — пуля!

Ошеломленный Светланов забормотал:

— А как бы вы на моем месте...

— Бывало и похуже! Показать?

Раздраженный и злой, Знобин сбросил с себя китель, рубашку, и Светланов увидел его искромсанное шрамами тело.

— Убедительно? Или вам и этого мало? — И хотя видел, что молодой офицер повержен и раздавлен, уже не мог остановиться: — Не подумайте, будто хвалюсь тем, что перенес. Хочу только сказать: фронтовых ран вполне достаточно, чтобы не обращать внимания на колкости

хлюпиков. И показал я их вам лишь для того, чтобы вы поняли, насколько мелки ваши терзания.

И тотчас Знобин как-то вдруг обессилел, вяло опустился на табурет и неловко стал одеваться, изредка поглядывая на Светланова. Когда была застегнута последняя пуговица, заговорил тихо, даже как будто виновато:

— Ну, пошумели и хватит. Теперь давайте поразмыслим, как служить дальше. Или стоите на своем — в запас?

— Не знаю... Но вы убедили меня в том, что я обыкновенная посредственность.

— Значит, переборщил. Вы не серость. Думаю, не ошибусь, если скажу, что на военную службу пошли по призванию — кто идет «по обстоятельствам», тот не читает специальную военную литературу. А вы и в Клаузевица заглянули... Или только цитатку выхватили?

— Нет, читал, хотя многого и не понял.

— Старик, насколько умен, настолько и сложен. Со страстью любил военное дело, потому и написал хороший труд. Вы-то любите службу или подались на нее по воле случая?

— Любил.

— Когда разлюбили?

— Окончательно сегодня ночью.

— Поспешно. Причина?

— Несправедливость.

— А может быть, правильнее — неточность меры наказания?

— Какая разница.

— Огромная. Скажите, вы всегда безошибочно определяли наказания за провинности?

— Не мне судить...

— А попробуйте, это полезно. Или с ходу трудно?

— Пожалуй.

— Что ж, вашего окончательного приговора своим поступкам я готов подождать. Вынесете раньше — могу походатайствовать о досрочном освобождении.

— Нет, полученное отсижу полностью, — не согласился Светланов.

3

Без пяти восемь Горин подходил к военному городку. Завидев зеленые, с пятиконечной звездой ворота, сбавил

шаг, умерил взмах рук. Во взгляде появилась та внимательная строгость, которая, считал он, необходима командиру, чтобы его встречали как начальника и чувствовали, что он прибыл на службу и поэтому малейшие вольности и отступления от ее правил недопустимы. Хотя не всегда и не все детали этого ритуала были необходимы, Горин не пренебрегал ими, поскольку они помогали ему установить в дивизии тот самый порядок, который и называется воинским. И сейчас он сухо принял рапорт, быстрым взглядом окинул городок, сделал несколько замечаний и только тогда отпустил дежурного и пошел в штаб.

Перед тем как начать работать, он распахнул окна, сел за стол и по плану-календарю освежил в памяти, что предстояло сделать за день.

Делопроизводитель внес папку с документами, Горин неохотно раскрыл ее и принялся за чтение приказов, распоряжений, указаний, руководств; строгих, требующих, разъясняющих, поощряющих. На каждой бумажке появилась надпись, кому что выполнить, когда доложить.

Вошел начальник штаба и остановился на пороге в строгой позе. Через толстые стекла очков в темной массивной оправе, которая придавала его узкому, слегка желтоватому лицу собранную деловитость, посмотрел на командира дивизии, спрашивая этим разрешения пройти к столу. Кивком Горин дал его.

Как ни вглядывался комдив в подходящего начальника штаба, недавно прибывшего в дивизию из Москвы, ни в одном его движении не мог уловить и отблеска того настроения, с которым он должен был петь вчера романс. В каждом жесте ничего вольного, лишнего. Уверенный взмах рук — и гармошка карты белой полосой пролегла вдоль стола. Еще такое же движение, и карта скатертью накрыла его. Чуть в сторону отодвинута тетрадь, и опять строгая стойка, показывающая готовность приступить к делу, ответить на любой вопрос командира дивизии. «Вчера, быть может, смерть жены забылась и потому он был другим? — подумал Горин. — Видимо. Пора, прошло больше года». И Горину захотелось вызвать на лице Георгия Ивановича хоть небольшое оживление, которое бы смягчило механическую размеренность его движений.

— Говорят, вы вчера покорили всех гостей романсом «Я встретил вас...».

Сердич быстро и остро посмотрел на Горина и, убедившись, что на лице комдива нет усмешки, помедлив, ответил:

— Да... как-то само собой получилось. Пел только дома, с женой. После ее смерти... губ не хотелось разжимать. А тут почему-то вырвалось.

— Видимо, пришла пора. Вечный траур, как и вечная любовь, красивы, но жизнь лучше.

— Слишком было много хорошего, чтобы можно было скоро решиться на вторую женитьбу. Потом, у меня сын и дочь. Хотя они, в сущности, взрослые, я бы не хотел потерять их уважение, сделав неудачный выбор.

— Понимаю.

Продолжать разговор о себе Сердичу, кажется, не хотелось, и Горин подошел к карте, разрисованной крупными изящными стрелами. Они хорошо выражали оперативный замысел. В этом сказывались сила Сердича и хорошая школа Генерального штаба. Но тактику он не то что забыл, а разучился пользоваться ее правилами. Для него она была как элементарная математика для инженера. За ненадобностью пользовался редко и по правилам арифметики не мог теперь найти верного решения.

— Все вы сделали хорошо, подумать офицерам будет над чем. — Горин задержался. — Но не кажется ли вам, что по этому замыслу мы больше будем требовать знания уставов, чем умения их выполнять?

— Знания — основа умения...

— И... шаблона.

— Пожалуй, — подумав, согласился Сердич. — Только что лучше: умелый шаблон или неумелое творчество?

— Плохо и то и другое. Но сейчас шаблон в мышлении опаснее: основы военного искусства большинство офицеров знает, а вот умения приложить их в конкретном деле достает не у всех. Без умения офицер — не командир, в лучшем случае диспетчер. Распределил по направлениям силы — и вперед.

— Что я должен исправить? — прямо спросил начальник штаба, давая понять, что ошибку свою он признает и не намерен чем-либо оправдывать ее. Это понравилось Горину. Но скорое признание промаха говорило и о другом: начальник штаба не совсем понял его суть и, видимо, воздерживался или отвык отстаивать свое мнение. Там, в Генеральном штабе, где начальники многими рангами выше и опытнее, защищать свое мнение, вероятно,

было трудно. В дивизии, где он первый помощник командира, это необходимо всегда. Какими бы заурядными ни казались суждения подчиненных, считал Горин, в них всегда может быть что-то полезное, это полезное должно быть изложено, а при необходимости защищено.

— В сущности, Георгий Иванович, занятие можно провести и по этой задаче, — проговорил комдив с тем спокойствием, которое позволяло Сердичу самому сделать выбор, переделывать материалы или только подправить их. — Но, думаю, свою первую в дивизии задачу вам следует сделать лучше, динамичнее. По занятиям в академии помните — понимание сути боя быстрее приходило тогда, когда обучение велось на острых ситуациях. А они обычно складываются в переломные моменты сражения, когда, как говорят философы, наступает критическое равнодействие и глубокое тождество противоречий, после чего количество переходит в качество. Понятна мысль?

— Не совсем.

— Когда идет прорыв обороны, стороны выкладывают максимум сил, иначе — успех добывают количеством, которое по законам диалектики должно перейти в качество. Переход обычно наступает в тот момент, когда оборона близка к крушению, но еще держится, а у наступающего кончаются силы. Побеждает та сторона, которая лучше использует резервы или найдет больше энергии, чтобы раньше дотянуть до второго дыхания.

— Я вас понял, — ответил Сердич с досадой на себя. И тут же, подумав, что его недовольство комдив может расценить, как обиду на него за высказанное замечание, добавил: — Задачу я переделаю.

— Пожалуйста. В другой раз, надеюсь, нам будет о чем поспорить.

— Если вы считаете это возможным...

— И необходимым. Пока не принято решение.

Горин взглянул на запись в календаре: «Спросить НШ о своей просьбе». Она была высказана в первом разговоре, когда Сердич прибыл в дивизию. Месяц — время вполне достаточное, чтобы знающий человек смог верно оценить дела дивизии, которая уже стала ему близкой, но не настолько, чтобы не замечать примелькавшиеся неполадки. И тут неожиданно встревожилось самолюбие — не наговорит ли Сердич о дивизии лишнего — плохое замечается легче. Горин приглушил его и спокойно спросил:

— Вы не забыли о моей просьбе?

— Нет, — ответил Сердич и глубоко заглянул в глаза комдиву, стараясь определить, насколько он сам умеет слушать других и признавать недостатки.

— Я вас слушаю. — И, чтобы окончательно успокоить вновь насторожившееся самолюбие, Горин добавил: — Говорите все, что думаете.

— Я подготовил докладную. На бумаге мысли у меня выражаются точнее.

Горин взял поданные ему листы бумаги, исписанные четким почерком. Уже первые строки убедили его, что дело не только в том, что на бумаге замечания о делах дивизии у Сердича получились более сжатыми и емкими. Написаны они были так, что позволяли ему, начальнику, относить к себе их в той мере, в какой он мог это сделать. Иначе, это был своеобразный тест, с помощью которого начальник штаба пытался узнать широту ума и мужества своего командира. Сдавать экзамен на зрелость подчиненному было неприятно, не сдавать — невозможно: все вопросы заданы, он их понял и не отвечать на них означало бы лишь одно — он сам не может вести разговор как просил — прямо, как бы это ни было неприятно.

Чуть отодвинув в сторону докладную записку, Горин ответил:

— Что ж... С вашим мнением о недостаточно ритмичной подготовке солдат, добавлю — и офицеров, согласен. Но в этом виноваты не только мы, но и те, кто над нами. Потом, текучесть людей у нас не сравнить ни с одним заводом. Два года — и все солдаты новые, а офицеры, можно сказать, на треть.

— И все же, товарищ полковник, — терпеливо выслушав Горина, проговорил Сердич, — более четкий ритм службы отработать можно. Понемногу ритм сбивают все, кто выше дивизии. Но может быть, потому, что хорошо не знают требования низов к верхам? В этом больше беды, а не вины.

— Возможно, — подумав, ответил Горин. — Как вы считаете, можно поправить чужую и нашу беду и вину?

— Путь один — научная организация труда.

— Где-нибудь по ней уже живут?

— Пробуют.

Горин встал и отошел к окну. Лет пять назад он попытался применить в дивизии кое-что из программиро-

ванного обучения, о котором заговорили многие газеты. За почин расхвалили, а после того, как скорый результат не получился, стали относиться к нему с сомнением. Когда же случилось ЧП — хотели послать офицером в генштаб, едва добился получения полка. Подниматься снова было нелегко: к упавшему присматриваются с пристрастием. Не получится ли так и с этим НОТ?

Как ни неприятен был этот предостерегающий вопрос, не подумать над ним Горин не мог. Экспериментировать, помимо тех планов и задач, которые дивизии определены приказами, означало отвлекаться от главного. Не дотянешь в нем одним хорошим выстрелом, и могут снова вниз...

Горин вспомнил тот день, когда прочитал приказ о снятии с дивизии, и ему стало душно. Лишь проследив свой путь возвращения на дивизию, он нашел в нем немало утешительного. Прошел его более зрячим, лучше понял службу подразделений, стал более терпеливым, и многие должности, которые были выше его, ему уже не казались ни трудными, ни особенно желанными. Пригодилось и то, что было отобрано из программированного обучения. Сейчас жизнь обрела равновесие, поумнела. Так что... ждать лучшего за чужой спиной — играть в труса. Им он никогда не был.

— С чего вы предполагаете начать нелегкий для дивизии эксперимент? — спросил комдив, усевшись на стул.

— Надо изучить, прохронометрировать рабочий день от солдата до нас включительно. Затем выявить, какие работы дублируются разными командирами, и определить близкое к оптимальному время их выполнения...

— Кто это будет делать?

— Штаб.

— А не получится ли так: загрузите работой своих подчиненных, и организация труда в штабе окажется нарушенной?

— Временная перегрузка возможна, — признал Сердич, — но я постараюсь избавить от нее офицеров лучшей организацией их работы. Четкие задания, надеюсь, приучат их к этому.

Горин снова задумался. Самих себя исследовать?.. По силам ли это рядовым офицерам? О приемах исследования они лишь кое-что читали, а надо знать, знать, как

ставится опыт, видеть его результат и по многим сделать верный вывод. Это по силам только опытным научным работникам. Потом, все ли дивизии примут полученный результат? Кто его будет проверять, внедрять? Нет, без вышестоящих штабов заниматься научной организацией службы — мало что сделать. Это растрата сил и времени. Снизится выучка полков — оправданий не примут.

Горин взглянул на Сердича. Он ждал ответа, терпеливо, собранно, готовый ответить еще не на один вопрос. Может быть, ради этого он приехал сюда? Вероятно. Вероятно, решил доказать кому-то в Генеральном штабе, что и службу армии можно ввести по-заводскому в четкий ритм. Цель большая, нужная, но она не по силам дивизии. В этом Михаил Сергеевич окончательно утвердился, но не знал, как сказать это Сердичу, ибо опасался, что без большой цели новый начальник штаба потускнеет и работа в дивизии ему покажется унылой, неинтересной.

Интересная цель у Горина была. Он не раз обдумывал ее, искал подходы, но без умного помощника, хорошо понимающего бой, психологию поведения в нем людей, увлеченного, напористого, решиться не мог. Сердич обещал быть таким, если новое дело найдет стоящим. Как преподнести его, чтоб заинтересовался?

Комдив еще раз скосил взгляд на начальника штаба и проговорил:

— Скажите, Георгий Иванович, не лучше ли будет, если к тому, что вы задумали, привлечь офицеров штаба высшего соединения и даже штаба округа?

— Безусловно.

— Быть может, попробуем? А пока в верхах будут рассматривать ваши предложения (если согласны, и я под ними подпишусь), предлагаю заняться другим, возможно, не менее нужным делом: в мирное время приучать солдат и молодых офицеров к опасностям боя. Возможная война, конечно, окажется тяжелее минувшей.

— Разрешите подумать? — Сердич неохотно наклонил голову к плечу.

— Да, конечно, — согласился тут же Горин. — Но докладную на имя генерала Амбаровского с вашим предложением о перестройке службы жду завтра.

— Будет представлена.

— Надеюсь и на свое получить от вас благоприятный ответ.

По тому, как Сердич машинально нагнул голову, Горин понял, что иного ответа не будет.

В дверях Сердич столкнулся со Знобиным. Тот пропустил его, пожал руку и прошел к Горину. Улыбающийся, довольный. У стола снял фуражку. Тяжелые седые пряди упали на глаза, но он не хотел их убирать, как рабочий не спешит привести себя в порядок после хорошей работы или нелегкой удачи.

— Что принесли? — заражаясь его настроением, спросил Горин.

Знобин присел, молчанием пощекотал нетерпение комдива и только тогда объявил:

— Из этого малого, кажется, можно сделать толкового командира. Повозился с ним — и самому хорошо. Так хорошо, будто мне влили молодую кровь! Чертовски приятно чувствовать, что можешь еще приносить пользу... — И вдруг, запнувшись: — Поставлю молодца на ноги, легче будет выходить из строя.

— А это к чему?

— Реальная оценка времени и своих сил, Михаил Сергеевич. Пятьдесят уже стукнуло. И война столько вытряхнула, что трудно, очень трудно мне бежать за молодыми. А должность обязывает быть впереди. И к тому же закон. Он для всех написан. Надо иметь мужество сказать самому себе: пора, дай дорогу молодым.

Зазвонил телефон. В трубке Горин услышал мягкий баритон Аркадьева:

— Здравия желаю, товарищ полковник. Вчера я, видимо, поторопился наложить строгое взыскание на старшего лейтенанта, не выяснив всех обстоятельств его проступка. Как мне стало известно, он защищал от хулигана вашу дочь.

Поспешное намерение командира полка изменить или отменить наказание своему офицеру Горину было неприятно, поскольку оно было вызвано, скорее всего, не заботой об офицере, а намерением поправиться перед комдивом за причиненное его дочери огорчение. Но поскольку человек желал добра, было неудобно тут же делать ему замечание. Горин отнял от уха трубку, с досадой потер ею седеющий висок. Ответил сдержанно:

— Нет, взыскание вы наложили правильно, хотя, быть может, и немного строгое. Пусть в тиши подумает,

как надо защищать девушек без дурной славы о своем полку. Что говорят в части о ночном происшествии?

— Разное, товарищ полковник.

— И все же?

— Есть и нездоровые отклики. В частности, в его взводе и роте: некоторые сожалеют, что не были вчера в саду.

— Побеседуйте с молодыми офицерами, и думаю, такие разговоры прекратятся.

— Слушаюсь. Сегодня же.

— Я буду у Берчука. Сообщите туда время беседы.

Когда Горин положил трубку, Знобин попросил его:

— Я привел к вам интересного солдата. Оружейного мастера. Если есть время, поговорите с ним.

— Чем он интересен?

— Изобрел одну нужную штучку. И вообще любопытен.

Знобин открыл дверь и позвал солдата. Тот, видимо, не ожидал, что будет вызван в кабинет командира дивизии, и воспринял приглашение замполита с каким-то сдержанным недовольством, будто его показывали, как диковинку. Чтобы полковники не увидели выражения его лица, он повернулся к двери, намереваясь ее закрыть. Знобин упредил его:

— Я ухожу.

Солдат, стараясь не греметь тяжелыми сапогами, сделал три шага и тихо представился.

— Рядовой Муравьев.

Горин встал. По тому, что он успел заметить в поведении солдата, тот действительно был чем-то интересен, хотя внешне выглядел не совсем подтянутым, но скорее не от нежелания, а от неумения сделать простую солдатскую форму красивой.

— Присаживайтесь, — указал Горин на стул, не отрывая глаз от сосредоточенного лица Муравьева, которое все еще выражало настороженную отчужденность.

Солдат сел, без торопливости, удобно. Горин отметил и это и счел за лучшее начать разговор с дела.

— Мне сказали, вы что-то изобрели.

— Пытаюсь, — уточнил Муравьев, с пристальным любопытством взглянув на командира дивизии.

— Что именно?

— Приспособление к стрелковому оружию для имитации огня при проведении тактических учений.

— Почему к стрелковому — вы же танкист?

— Товарищ попросил, он в пехоте.

— Понятно...

Горину хотелось похвалить солдата за отзывчивость к товарищу, за помощь пехоте, но обыденность, с которой Муравьев сказал о своем приспособлении, удержала, видимо, он считал его не стоящим похвал, которые вообще в его понимании, кажется, имели очень низкую цену.

— Давно занимаетесь изобретательством?

— Начал во Дворце пионеров.

— Образование среднее?

— Да.

— Почему не поступили в институт?

— Считал, инженеру-изобретателю хорошо знать литературу и русский не обязательно.

Спокойное осуждение ошибки детства позволило Горину утвердиться в том, что взятый им тон разговора верный; солдат предпочитает соразмерность и точность во всем, ему не нужно преувеличение, ни принижение его достоинств, о которых он хорошо знает, но считает их пока не так уж значительными, особенно в сравнении с достоинствами великих.

— Расскажите принцип действия вашего приспособления.

— Принцип действия простой, как у будильника. Трещотка крепится на оружии вместо магазина и соединяется рычажком со спусковым крючком. Когда стрелок нажимает на крючок, защелка оттягивается, пружина приводит в движение ударник. Трудно было подобрать материал и форму пластинки-звонка, чтобы звуки походили на настоящие выстрелы.

Вошел шофер, доложил, что машина готова к поездке. Горин, продолжая думать над изобретением, машинально кивнул головой. Когда шофер вышел, он, что-то решив про себя, сказал:

— Вот что! Сейчас мы поедем к полковнику Берчуку. Знаете такого?

Муравьев пожал плечами. Он не знал и полковника Берчука, и особенно то, как можно предупредить старшину роты, чтобы тот на вечерней поверке не сделал выговор: солдат в любых условиях должен сообщить своему командиру, где он находится и что делает.

4

Зеленый газик по гладкому шоссе легко взбежал на возвышенность, откуда открылся широкий вид голубой от марева долины с желтыми полями и сизым узором реки, напоминавший среднюю полосу России и украинское Полесье. Зеленые округлые горы у горизонта походили на родные, уральские. Только тучи над ними, огромные, темные, грозившие обрушить на долину потоки воды, были дальневосточные. Шофер придержал машину, зная, что полковник любил постоять на высоте, посмотреть, о чем-то своем подумать, но сейчас, перехватив вопросительный взгляд водителя, Горин кивнул головой вперед, и машина сбежала вниз. За мостом она свернула на проселок, прогретый расщедрившимся, наконец, солнцем, и, едва сбавила ход, облако пыли навалилось на нее, проникло под тент. Серый бус оседал на складках гимнастерок, щекотал ноздри. Особенно пропылился солдат-танкист, сидевший сзади.

После того как они покинули военный городок, командир дивизии расспросил Муравьева о родителях, откуда призван в армию, трудно ли привыкать к службе, и затем надолго умолк. Можно было предположить, что Горин забыл о солдате, если бы изредка не поглядывал на него в зеркало. Полковник о чем-то озабоченно думал, и Муравьев, чтобы не прервать его мысли, затаился, не смел кашлянуть, хотя в горле у него давно першило от пыли.

А думал Горин о полковнике Берчуке. «Что могло случиться с Алексеем Васильевичем? — снова и снова возвращался он к этой мысли. — Устал от службы? Или молодой замполит перемудрствовал?» Представляя себе Берчука последних недель, его огромную фигуру, Горин про себя отмечал, что все вроде бы в нем осталось постарому, иными, чем прежде, ему виделись только его глаза. Обычно сурово-внимательные, временами жесткие, теперь они казались какими-то отрешенно-неподвижными, как вдруг остановившиеся часы. И дела полка, выходило по письму замполита, и Горин ощущал это, не то что ухудшились, но как-то потускнели, что было тревожно — ведь полк лучший в дивизии, а сам Берчук — живая ее история. Служит в ней со дня формирования, с осени тридцать девятого года, на фронте командовал всеми подразделениями от стрелкового отделения до батальона.

Вместе с ней приехал сюда, на восток, в сорок пятом, дошел до Порт-Артура, вернулся в Приморье. И вот уже десятый год командует полком. Знал он этот свой предел и не проронил ни слова жалобы на свою застоявшуюся службу — без академии куда ж...

Причина начала нащупываться, но верить в нее Горину не хотелось. Берчуку почти сорок девять. Через год-два кончится его служба. Как ни тяжела она была, расставаться с ней нелегко. Если причина его невеселых раздумий в этом, чем их рассеять, как настроить, чтоб до последнего дня служилось хорошо и в запас его можно было бы проводить с той щедростью почестей и душевной теплоты, которые он заслужил своей долгой, честной службой на невысоких, но самых трудных должностях в армии.

Горин всегда придерживался правила: если хочешь, чтобы подчиненные уважали своего командира, без него даже не начинай смотреть полк. Но сейчас, обдумывая, с чего начать разговор с Берчуком, он все больше склонялся к мысли, что сначала нужно самому увидеть, насколько ухудшились дела в полку, а потом уже определить, как вести разговор с Алексеем Васильевичем. И чтобы тот сразу почувствовал, что комдив чем-то недоволен, решил отступить от своего правила, — не доезжая до военного городка, свернул на стрельбище полка.

К остановившейся вблизи огневого рубежа машине подбежал командир роты. Любуясь его раскидистыми черными усами, комдив выслушал громовой доклад, поздоровался и стал поодаль, сцепив кисти рук за спиной. Еще издали он увидел на стрельбище ту безмятежную неторопливость, которая обычно наблюдалась на тех участках фронта, где долго стояли без движения. Можно было сделать замечание, но комдив не спешил, хотел, чтобы командир полка, который, он был уверен, с минуты па минуту должен появиться на стрельбище, сам увидел эту безмятежность и после намека или без него понял, куда она может увести полк.

Когда сзади послышалось натужное гудение машины, Горин кивнул приехавшему с ним оружейному мастеру:

— Ваша штучка должна не только строчить, но и считать звуки выстрелов. Вот тогда она будет что надо. Ясно почему?

— Не совсем.

— Результат стрельбы во многом зависит от точной длительности очередей. Ваш счетчик должен научить стрелков определять их по музыке выстрелов... Походите за стрелками и присмотритесь, что и когда они делают.

Солдат не слишком умело повернулся и заспешил к огневому рубежу.

Машина еще бежала, а дверца уже открылась. Едва «газик» стал, из-под серого тента показались могучие плечи полковника Берчука. Выйдя из машины, он расправил складки гимнастерки и направился к комдиву. Лишь первые шаги командира полка были озабоченно-торопливыми. Затем его поступь стала спокойной, чуть замедленной, как и те слова, которыми он доложил о себе. Горин протянул полковнику руку и тут же взглядом показал на удаляющегося оружейника, как будто тот и был главной причиной его приезда в полк.

— Привез солдатика. Изобрел такую штучку... Не придумаю, как и отблагодарить.

Берчук развернул плечи, окинул внимательно-строгими глазами оружейника, который, будто пристегнутый, то бежал за стрелком, то ложился рядом с ним, и промолчал — понял, не только из-за этого мальца приехал в полк командир дивизии.

— Что, посмотрим, как воюют подчиненные вашего лихого капитана? — после короткого молчания предложил Горин.

Усатый капитан выхватил из кармана записную книжку, на вытянутой руке подал ее комдиву. Горин пробежал взглядом по столбикам цифр пробоин и оценок, и глаза его пытливо окинули крепкую фигуру офицера.

— Как оцениваете стрельбу роты?

— Почти хорошо! — преуменьшив для скромности результат, ответил капитан.

— Почти хорошо сейчас — это может быть плохо на инспекторской. И в бою.

— Результат твердо хороший, товарищ полковник, — ответил тут же ротный, досадуя, что комдив не понял, почему он сказал «почти хорошо».

— Позовите лучшего стрелка роты.

Вызванный из строя сержант вскочил в окоп, надел противогаз. Горин подал команду. Сержант торопливо выстрелил и побежал вперед. Комдив, командир полка и

капитан неотступно следовали за ним. Чуть вправо появились макеты двух фигур. Сержант присел па колено и дал очередь. Через несколько шагов еще одну и последнюю метрах в ста от мишени. Пули взбили пыль на бруствере окопа и двумя красными точками взвились над полосой леса.

Сержант побежал дальше. Увидев бугорок с помятой травой, в нерешительности остановился: должны появиться цели, но желтые кусты, за которыми они были скрыты даже не шелохнулись. Ждать нельзя, а идти вперед - там густая трава, придется стрелять с колена, можно промазать. Честность взяла верх, и пришлось стрелять не с лучшей позиции.

Пулемет и одна бегущая цель оказались непораженными. Оценка — только «удовлетворительно».

На высоком лбу командира полка собрались грозовые складки. Узкие ноздри его большого носа с шумом втянули воздух. Но комдив опередил его:

— Убедились?

— На войне инспектора в цепи не ходят, — ответил озадаченный капитан.

— Зато сейчас не рвутся ядерные заряды.

Капитан не знал, что ответить: ядерный удар — не инспектор, тряхнет — в блиндаже подкосит.

— О чем задумались?

Командир роты приподнял литые плечи:

— Не знаю, что делать, чтоб у солдат не тряслись поджилки. И при инспекторе, и потом, на войне.

— Сейчас — сделайте огневой рубеж передним краем. А как приучить хорошо стрелять и при ядерных взрывах — подумайте. Сколько вам нужно времени?

— Неделю.

— Даю месяц. Лично доложите командиру полка, а потом мне.

— Есть.

Полковники направились вдоль огневого рубежа. Рядом с могучим, как вековой дуб, Берчуком Горин выглядел по-юношески щуплым и легким. Но командир полка шел чуть сзади его и почтительно склонялся каждый раз, как только Горин обращался к нему.

Везде, где комдив останавливался, он что-то подмечал, что-то требовал изменить и посмотреть, к чему это приведет. Хотя за три часа комдив ни разу прямо его не

упрекнул, Берчук еще раз убедился: командир дивизии приехал в полк совсем не за тем, чтобы показать своему солдату-танкисту стрельбу, а за чем-то более важным, и об этом важном разговор еще впереди.

Но Горин все тянул. Со стрельбища попросил повести его к танкистам, которые, как узнал он, смастерили интересный тренажер для самостоятельного изучения солдатами агрегатов танка. От танкистов поехали к минометчикам и затем на полковой огород.

Машины остановились у картофельного поля, тучно колыхнувшегося от набежавшего ветерка. Видя, что комдив от удовольствия сдвинул фуражку на затылок, командир полка как бы между прочим сообщил:

— Молодую картошку уже подаем к солдатскому столу. Давно. И свежий лук, огурцы, в суп — петрушку, сельдерей. Вот-вот пойдет капуста.

— Сколько у вас здесь всего?

— Картошки гектар, под капустой и другими овощами почти столько же, — с надеждой ответил Берчук, полагая, что после осмотра огорода комдив не так строго будет совестить его за какие-то упущения.

Но ожидание это не оправдалось.

— Кормить солдат свежими овощами, конечно, хорошо. Только нельзя, чтобы у них, и тем более у офицеров, завелась привычка жить покойно. Помните, как на тех участках фронта, где долго не наступали? Порой ленились стрелять, чтоб не создавать себе лишних хлопот.

Неожиданный поворот в беседе захватил Берчука врасплох. От упрека, который он уловил в словах комдива, и недавней мысли, что комдив, увидев огород, хоть немного смягчится, Берчуку стало совестно. Он зачем-то снял фуражку, обнажив свою крупную, подстриженную бобриком голову.

— Скажи мне, Алексей Васильевич, — перешел на «ты» Горин, что означало особое доверие к подчиненному, — сколько тратишь времени на хозяйственные дела?

— Хозяйство требует хозяйского глаза, — уклончиво ответил Берчук.

— Но для ведения хозяйства есть хозяйственники.

— Картошка, свиньи — занятие грязное, вонючее. Некоторые с академическим образованием стыдятся прикасаться к ним чистыми руками.

— Поэтому командир полка решил поучить их, так

сказать, личным примером? — чуть смягчился комдив, увидев, как больно его упрек уколол Берчука.

— Начал с этого, а потом вроде крестьянский дух пробудился: повозишься в хозяйстве — и радостнее.

— Однообразие нашей службы может утомлять, но отдыхать надо так, чтоб дела полка не ухудшались.

— Полк идет по-прежнему, товарищ полковник.

— Кое в чем уже иначе, Алексей Васильевич. Возьми безмятежный покой на стрельбище, самоуспокоенность усатого командира роты, интересное начинание танкистов, которое почему-то никто еще не подхватил. А у артиллеристов полка?

Комдив начал разбирать, к чему привела обособленность минометчиков, и Берчук шумно втянул в себя воздух: получилось, комдив указал ему на то, что перестали замечать его постаревшие глаза.

Но, переживая свой невольный промах, Берчук не мог согласиться с тем, что недостатки в полку возникли от того, что он чуть реже стал бывать в подразделениях. Там же комбаты, ротные, взводные. Помоложе его, грамотные, двое даже с академией. Зачем же стоять над их душой? Можно набить мозоли. И когда-то должны же они обзаводиться самостоятельностью? А может, в дивизию собирается инспекция? Так надо и сказать прямо. Раз дуну, и вся пыль слетит.

Комдив, словно угадав мысли Берчука, спросил:

— Отчего, считаешь, в полку завелась, ну, назовем ее хотя бы так: успокоенность?

— Дела всегда шли как надо. А что заметили — исправим.

Горин посмотрел на большое, постаревшее от обиды лицо Берчука, и слова, которые он хотел высказать, пришлось заменить.

— Не хмурься, Алексей Васильевич. Мой вопрос — не упрек. То, что я подметил, исправить нетрудно. Но, если шаг полка не изменится, какой-нибудь изъян снова заведется, за ним еще. И заговорят о тебе с сожалением. А мне хочется, чтоб на твоих проводах произносились не вежливые, а гордые слова, гремела медь оркестра. Для этого нужно хорошо дотянуть до финиша. Чтобы так получилось, полку нужно взяться за что-то интересное.

— Народ сейчас грамотный, не так просто подобрать это интересное.

— Трудно, но можно. Сердич собирается кое-что сделать для морально-психологической подготовки войск. Чтобы люди почувствовали бой уже сейчас, и настоящий был бы им не так страшен. Сорок первый помнишь? Необстрелянные воевали хуже. Может быть, присоединишься к нему и привлечешь вот таких, как бравый капитан?

— Надо бы поразмыслить, — не хотел сразу соглашаться Берчук, чтобы комдив не подумал, будто своей сговорчивостью он решил смягчить полученные упреки.

— Думайте, но только над тем, как помочь капитану выполнить полученное задание. Начните с этого.

5

Едва машина выбежала за городок и набрала скорость, Горин почувствовал, что ему не хочется встречаться и говорить с Аркадьевым. Сначала он подумал, что причина этого в неудачной попытке командира полка поправить свою ошибку с поспешным наказанием Светланова. Но вскоре признался себе, что о таком же промахе другого командира полка думал бы куда меньше и без смутного беспокойства. «Выходит, былое оживает в тебе быстрее, чем в романсе: ее еще не встретил, а сердце уже встревожилось?..» Горин прислушался к тому, что творилось в нем самом. Нет, прежних чувств, кажется, не было. Ощущалась лишь какая-то томительная смесь сожаления, грусти и предчувствия натянутости и даже фальши при встрече с Ларисой Константиновной.

Вернувшись в городок, Горин намеренно подвез Муравьева к казарме, около которой толпились солдаты.

— Когда можно ожидать завершения работы над приспособлением? — обратился он к солдату.

— Не знаю, — признался Муравьев.

— Может быть, нужна моя помощь? Скажем, освободить от занятий, что-либо изготовить в мастерских.

— Мы сейчас изучаем моторную группу. Отстану. Если вечером...

— После обеда будете ходить в оружейные мастерские дивизии. Делайте быстрее, ваша коробочка очень нужна, нужна всей дивизии.

Лицо Муравьева сделалось более строгим. В знак понимания он медленно наклонил голову.

Едва он отошел от машины, его обступили солдаты, с уважением подошел старшина, а Горин направился к клубу полка, думая о том, что таких солдат уже немало и надо искать, как еще лучше учить их, делать службу интересной.

Офицеры были уже в сборе, когда Горин вошел в клуб.

Командир полка подал команду. Достаточно четко, но негромко и сдержанно, чтобы она не показалась комдиву излишне усердной, а офицеры встретили старшего с той собранностью, к которой обязывал устав. Аркадьев взглядом проверил, все ли стоят, как нужно, и только затем пошел к Горину. Комдив невольно отметил точность и красоту движений высокого, чуть тронутого полнотой, но безукоризненно одетого командира полка и подумал сказать об этом офицерам, как вдруг встретился со снисходительно-недоуменным взглядом его черных, немного навыкате глаз, каким нередко смотрят сильные на слабых, и ощущение красоты исчезло, а за ней исчезла и появившаяся было доброжелательная улыбка. Тут же изменился и Аркадьев. В хрипловатом голосе его послышалась не то обида, не то осуждение, вероятно, от того, что вот комдив приехал на беседу, вмешался в дело, которое по силам ему самому.

Горин поздоровался с командиром полка, его заместителем по политчасти подполковником Желтиковым, который робко вышел из-за спины Аркадьева и неловко, только пальцами взял его руку. Кивнув Аркадьеву, что он может начинать беседу, Горин пригласил Желтикова сесть рядом.

Командир полка взошел на трибуну, коротким поклоном с полуоборотом в сторону Горина еще раз попросил разрешения начать разговор и произнес первую фразу:

— Товарищи офицеры!

Затем помолчал, будто размышлял, как лучше сказать о происшествии, и продолжил свою недолгую речь:

— Мне не доставляет удовольствия в первые недели командования полком говорить вам неприятные слова. Но тяжелые обстоятельства вынудили. Ваш товарищ, я имею в виду старшего лейтенанта Светланова, совершил грубейший проступок — учинил драку с гражданскими лица-

ми в общественном месте. Сожаление вызывает и то, что в парке были некоторые из вас и не остановили своего товарища, который замарал честь офицерского мундира, честь полка — вашего полка...

С каждой новой фразой замечания командира полка становились жестче, голос громче, и казалось, во-вот он зазвучит совсем не в тон. Горин подождал еще, надеясь, что желание Аркадьева показаться требовательным пройдет, и он закончит беседу с тем уравновешенным спокойствием и рассудительностью, которых требовал разговор с молодыми офицерами. Но нет, красивое лицо Аркадьева не смягчилось.

Комдив повернулся к Желтикову, который всем своим сокрушенным видом показывал, что разделяет постигшую полк неприятность и оценку, данную проступку командиром полка, и тихо спросил:

— Аркадьев делился с вами тем, что собирался сказать офицерам?

— Нет.

— А вы интересовались?

— Нет.

— Почему?

— Неудобно — он единоначальник...

«Не то вы говорите!» — хотел заметить Горин подполковнику, но, уловив, что Аркадьев стал говорить более спокойно, с надеждой посмотрел на него.

За двадцать минут командир полка выложил все свои замечания и, повернувшись к комдиву, опять коротко поклонился. В зале установилась неуютная тишина. Горин прошелся взглядом по лицам офицеров — у одних покорное признание вины, у других — ее саркастическое отрицание, у третьих — желание побыстрее уйти из-под очей начальства. Кажется, разговор не получился. Что сделать, как поправить промах командира полка? Сказать несколько слов самому? Можно поставить под сомнение все выступление Аркадьева. Но отпустить офицеров в таком угрюмом настроении тоже нельзя.

Чтобы выиграть время, спросил Желтикова, не намерен ли он выступить перед командирами взводов. Тот, расстроенный неудачной беседой, да еще в присутствии командира дивизии, сам лихорадочно придумывал, как поправить беду, и не сразу понял, о чем его спросили, а

понял — от смущения покраснел. Горин отвернулся, секунду подумал и медленно пошел к краю сцены, ближе к офицерам.

Доброжелательно, с улыбкой, чтобы офицеры и не подумали, что он недоволен выступлением командира полка, Горин начал говорить так, будто полностью был с ним согласен.

— Товарищи офицеры! Смотрю я на вас, и мне представляется, что некоторые сейчас думают примерно так: дело начальства — ругать, наше — слушать; возразишь — не поймут, а то и осудят — ведь начальство, как правило, относится вами к старикам, которые держатся давно минувшей моды и потому по старинке воспринимают запросы времени, желания молодых.

Могу согласиться с тем, что новое время требует новых людей. Но не надо забывать: в одно и то же время живет несколько поколений. Выходит, надо нам говорить и слушать друг друга. Один из старших высказал свое мнение. Если кто из вас, молодых, желает высказать свое — пожалуйста.

Зал не отозвался.

— Тогда наберитесь терпения выслушать о постигшей нас беде и мои слова.

Комдив склонил голову, помолчал и потом обвел ряды офицеров озабоченным взглядом.

— В поступке Светланова есть что-то от благородного рыцарства. Офицер, как и солдат, — защитник, и ему не к лицу уклоняться от помощи человеку, которому грозит опасность, тем более, если в таком положении оказалась женщина. Как отец девушки, которую защищал Светланов, я, казалось бы, должен был сказать ему спасибо и поспешить с его освобождением. Да и командир полка сегодня утром готов был смягчить взыскание, которое наложил на старшего лейтенанта. Но я не посоветовал ему. Из разговора с дочерью, которая во имя справедливости тоже требовала быстрейшего освобождения вашего товарища, я понял: в той ситуации вообще не было необходимости завязывать скандал и тем более пускать в ход кулаки. Парень вел себя непристойно. Согласен. Но неужели только дракой можно было привести его к порядку и тем более сделать другим — сознательным и послушным? Конечно нет! Удар Светланова вызвал лишь озлобление ребят. Час спустя после драки я случайно встре-

тился с ними. Большинство из них уже подшучивало над драчуном, но сам драчун затаил на старшего лейтенанта обиду и даже злобу. И заметьте: не на Светланова, а именно на старшего лейтенанта. А осенью он придет в армию, и работать с ним вам или вашим товарищам будет нелегко.

Это, так сказать, чисто служебные издержки поступка. Но не менее печальны и общественные. На драку, в которой участвовал старший лейтенант — опять же не Светланов, ибо его мало кто знает, а офицер, — смотрело немало зевак. Представьте, какие разговоры о нем сегодня бродят по городу. И опять-таки разговоры не о Светланове, а о нас, о военных вообще.

И третье — почему Светланову полезно побыть под арестом? Сегодня в гостях у дебошира был полковник Знобин. Оказывается, из-за того, что на него наложили взыскание, возможно и несколько большее, чем он того заслуживает, старший лейтенант собрался уходить из армии. Поспешность подобных решений не красит офицера. Как видите, последствий у проступка много, над каждым нужно хорошо подумать.

В зале зашушукались, но когда Горин выжидательно замолчал, все стихло.

— Теперь о том, зачем мы собрали вас. Не только для того, чтобы сказать, как нехорошо поступил ваш товарищ, старший лейтенант Светланов. Главная цель — напомнить вам и через вас вашим подчиненным, что мы — люди с оружием и, как никто, должны обладать выдержкой и терпением. Срываться, поступать наобум не имеем права, ибо от этого порой может зависеть, быть или не быть острому военному конфликту, политическому осложнению. Вспомните недавние нарушения нашей границы, здесь, на востоке, длинноволосых смутьянов в Чехословакии. Это нужно помнить всегда.

Желающих выступить так и не оказалось, и Горин слегка развел руками, разрешая закончить беседу.

Зал быстро опустел. Последние три офицера остановились у выхода, о чем-то поспорили и тоже скрылись за дверью.

А комдив, весь подавшись вперед, смотрел им вслед, будто собирался пойти за ними и там, на дворе, узнать, почему все же никто ничего не сказал, почему никто даже не задал вопроса? Что это? Безразличие к проис-

шествию, к судьбе товарища? Или не захотели затруднять и без того нелегкое положение командира полка? А возможно, просто боятся его?

Горин повернулся к Аркадьеву и Желтикову, подошел к столу, сел, предложил сесть офицерам и только тогда спросил:

— Как считаете, задумалась молодежь над проступком своего товарища?

— Обязаны,— ответил Желтиков, растерянно взглянув на командира полка, который почему-то молчал.

— Думать по обязанности... Такого не бывает.

— Конечно, думают по убеждениям, — заторопился замполит, — но здесь были приведены веские доводы.

— Веские? А какими ушли от нас офицеры? Давайте уж признаем неудачу. Страшно не поражение, а нежелание признать его. Знаете, кто это сказал?

— Да... Владимир Ильич, — ответил Желтиков, и от стыда опустил глаза.

Слушая разговор комдива с Желтиковым, Аркадьев поджал губы, скрывая недовольную усмешку, говорившую о том, что происшествие не стоит того, чтобы о нем много говорить. Офицеры не глупенькие, сами давно во всем разобрались, — у половины высшее образование, педагоги. Надо больше спрашивать, требовать, и меньше будет желающих спотыкаться на ровном месте. И вообще дело не в ЧП — всего одно, оно не может говорить об ухудшении дел в полку. Причина в чем-то другом. Видно, из-за нее комдив вчера отказался прийти на ужин, а сегодня не захотел смягчить наказание своему будущему зятю, хотя этим можно было без долгих слов погасить сыр-бор.

Заметив снисходительно-обиженную мину на лице Аркадьева, Горин подумал, что тот недоволен разговором о его ошибках в присутствии подчиненного, и отпустил Желтикова.

— Теперь вы можете дать оценку беседе и своему выступлению?

— Вы ее уже дали. Какая необходимость в моей? — с натянутым безразличием к возможным для себя неприятностям проговорил Аркадьев.

— Возможно, наши мнения разные. Я хочу знать ваше.

Глаза Горина сузились, маленький рот плотно сжал-

ся. Недовольство ответом послышалось и в голосе, и, видимо, поэтому Аркадьев не захотел поднять глаз, чтобы не вынуждать себя менять тон разговора.

— Не в моем стиле вести долгие и добренькие разговоры. Вероятно, именно это не понравилось вам.

— Свой стиль — вещь хорошая. Только при двух условиях: если он работающий и согласуется с другими.

— Мне трудно его менять: даже в лейтенантские годы во мне было немного воску.

— Как же вы думаете служить в дивизии, командовать которой доверено мне? — отрывисто спросил Горин, и Аркадьев понял, что комдив не так уж мягок, как казался, но не успел как следует сдержать себя, и его ответ получился раздраженным.

— Я сказал, что хотел сказать. О стиле судить вам.

— Я, Геннадий Васильевич, буду не только судить о нем, но и обтесывать его, если потребуется, независимо от того, приятно вам это будет или нет!

Услышав твердый, не допускающий дальнейшего препирательства голос комдива, Аркадьев одумался. «Я, кажется, зашел дальше, чем следовало». По его спине пробежал неприятный холодок, и, когда Горин спросил, способен ли он сегодня продолжить разговор, предпочел через силу выдавить из себя «да».

— Я нахожу, что в суть происшествия вы не вникли и потому допустили нежелательные оплошности, — заговорил Горин, стараясь перейти на ровный тон. — Мне кажется, беседа прошла бы откровеннее, если бы вы собрали офицеров не в зале клуба, где они просто затерялись, а у себя в кабинете. Молодые офицеры были бы около вас, каждому вы смогли бы посмотреть в глаза, уловить реакцию на свои слова и при необходимости изменить характер беседы. Между прочим, есть давнее правило: если хочешь расположить к себе подчиненных, даже проходя строй, со вниманием посмотри каждому в глаза.

Вторая ваша оплошность состояла в том, что вы не беседовали с офицерами, а обвиняли их. И не как командир, для которого полк — родная семья, а как пришелец, как плохой инспектор, который прибыл, увидел, обвинил и тем, казалось бы, выполнил свои служебные обязанности. Хотя вы и новый командир, полк и подчиненные — ваши. Чтобы сблизиться, нужно делить с ними все, осо-

бенно беды, если даже вы в них, казалось бы, совершенно неповинны.

Третья. Обвинить всех за проступок одного — метод, которым нужно пользоваться крайне осторожно: когда есть коллектив и он, пусть косвенно, виноват в беде; когда вы твердо уверены, что большинство готово осудить виновника и поправить беду общими усилиями. Для вашего полка — это еще будущее; а пока вам нужно научить каждого солдата и офицера отвечать за свои поступки и действия и так, чтобы каждый понял и прочувствовал, что от его дурного поведения страдают все.

Давайте посмотрим, как можно было на случившемся несчастье поучить молодых офицеров отвечать за себя и за поступок товарища...

Увидев, с каким плохо скрытым недовольством отвел взгляд Аркадьев, Горин круто изменил разговор:

— Вам не интересно, о чем я говорю?

— Слушать старшего — обязанность младшего. Я ее выполняю. Интересно ли мне слушать замечания? Сознаюсь, нет.

— Почему?

— Выговора вообще слушать неприятно, особенно, когда в них не чувствуешь своей вины. В том, что полк такой, а не лучше, виноват, по-моему, не я.

— Не вы. Но и при вас полк не становится лучше.

— Выправить полк за несколько недель... Трудно в это верится.

— Выправить трудно, изменить настроение людей, их отношение к службе — можно. А этого вы как раз и не добились.

6

Горин покидал клуб с досадной мыслью: разговор с новым командиром полка получился не таким, каким хотелось. Вместо доверительной беседы началось чуть ли не препирательство. Упрямое желание отстоять безупречность своего мундира помешало Аркадьеву понять то, что он должен был извлечь из беседы. Пора было идти домой, но неудача заставила заглянуть в штаб в надежде, что Знобин еще там и можно поговорить с ним об Ар-

кадьеве. Но в штабе работал только Сердич. Знобин все еще находился у танкистов.

Горин выслушал, что сделал Сердич за день, и неожиданно предложил:

— Пойдемте ко мне ужинать.

Георгий Иванович удивленно поднял брови:

— Я недавно пообедал...

— Не верю. И потом — от приглашения старших отказываются только при очень серьезных обстоятельствах...

Когда офицеры вышли за проходную, солнце уже опустилось за высокие тополя, отбросившие мягкие тени через всю улицу. От реки тянул свежий ветерок. Он ослабил душный дневной зной. Идти было приятно.

У домов стояли женщины, играли дети. Во дворах метали на зиму сено, чинили сараи. С детства Горину была знакома нехитрая полудеревенская жизнь районного центра. Он знал здесь многих, и многие приветствовали его как давнего знакомого.

У Дома офицеров — белого здания с тяжелыми колоннами, увенчанными дорическими капителями, — Сердич приостановился.

— Посмотрите, кажется, Лариса Константиновна.

В белом платье, с небольшой книгой в руке, издали она показалась Горину прежней учительницей и живо напомнила выпускной вечер в академии и последнюю встречу с ней.

В тот день он получил диплом с отличием и золотую медаль, но близкий отъезд из Москвы и теперь уже неизбежное расставание с Ларисой Константиновной омрачали радость. И, чем ближе подходил час прощального вечера, тем больше его угнетала мысль, что в разрыве с Ларисой виноват, кажется, и он.

Горин мысленно перебрал тогда все, что было у него с Ларисой: нетерпеливое ожидание, пока она обратила на него внимание, счастливейший день, когда она познакомила его со своим сдержанно-внимательным отцом, который убрал из комнаты все генеральское, чтобы не стеснять его во время беседы, не менее счастливые два месяца почти ежедневных встреч и, наконец, тот день, когда Лариса неожиданно уклонилась пойти с ним в театр. Без нее не пошел и он. Поздно вечером с друзьями он отправился в парк «Сокольники» на прощание с зимой. На катке «Люкс» они увидели Ларису Константиновну

с моложавым мужчиной, который, слегка наклонившись к ней, рассказывал, видно, что-то занимательное. Когда пара проходила мимо них, она взглянула безразлично отрешенными глазами и, кажется, не захотела узнать своих учеников, чем вызвала гнев у последних холостяков курса.

Решение было принято без долгих разговоров. Друзья направились за парой и поочередно отдали ей честь. Лишь он, Михаил, не сделал этого. Уехал в общежитие и не мог уснуть всю ночь.

Может быть, он сумел бы справиться с охватившим его смятением, если бы на другой день Лариса Константиновна хоть чуть-чуть проявила к нему то скрытое внимание, которое он замечал всегда, когда она спрашивала его. Лишь через несколько занятий Горин уловил в ней что-то похожее на сожаление или вину. Но уже было поздно. Накопившаяся обида, поднявшаяся гордость человека, прошедшего всю войну, взбунтовались в нем, и он принял то упрямое решение, от которого потом не мог отступиться, хотя не раз замечал на себе ее пытливый взгляд, в котором виделось желание спросить его о чем-то, а возможно, и дружески поговорить. Но он не воспользовался ни одним случаем. Больше того, перевелся в другую группу и при виде Ларисы сворачивал в класс или курилку.

В день выпуска Горин несколько раз набирался смелости зайти на кафедру, чтобы поблагодарить Ларису Константиновну за уроки английского. Втайне он надеялся, что в завязавшемся разговоре ему удастся признаться ей, насколько мальчишески он вел себя в последние месяцы, и это даст ему повод написать ей письмо. Она, конечно, ответит, и в завязавшейся переписке произойдет примирение. Но в преподавательской комнате ее не оказалось, поехать к ней домой он не решился.

А на выпускном вечере тостов — поздравительных, напутственных, прощальных — было так много, что голова Горина затуманилась и в ней закружилась упрямая мысль — клин выбить клином, чтобы избавиться от боли и освободить место для другой женщины. Пусть не столь изящной, но такой, которая бы безропотно переносила все невзгоды армейской жизни.

В зале он пригласил танцевать ту, которая улыбчиво поглядела на него. Услышав его шутку, — нет ли в зале

рыцаря, который бросит ему перчатку, — она ответила в том же тоне: ее знакомые — люди вполне современные — перчаток не носят и потому вызывать на дуэль соперников им нечем. Во время третьего танца он уже знал, кто ее родные, где живут, а затем и получил разрешение навестить дом на Арбате в качестве гостя. Когда после очередного танца он подвел партнершу к белой колонне и щегольнул невесть какой остротой, рядом увидел Ларису Константиновну. В грустной улыбке ее было столько удивления, что Горину показалось, будто она слышала весь его разговор с этой всего-навсего лишь смазливой девицей. Ему стало так стыдно, что он задохнулся, будто глотнул клубок густого дыма. Извинившись перед девушкой, он поднялся в буфет и уже не помнил, как очутился на арбатской квартире.

От давно совершенной глупости и сейчас ему стало так стыдно, что он остановился.

— Вы хотите подойти к ней? — услышал он вопрос Сердича.

Назвать истинную причину, почему он остановился, Горин не мог и потому сказал:

— Да. Пока она наша гостья, и ей, возможно, с нами по пути.

— Добрый вечер, — приблизившись к Ларисе Константиновне, произнес Горин каким-то чужим голосом и замер, увидев, как вздрогнула, а затем гордо выпрямилась ее спина. Прошла еще долгая секунда, пока Лариса Константиновна повернулась.

Холодность ее красивого умного лица сменилась недоумением. Так разительно не походил Горин на того, каким она представила его себе со слов мужа. Ничего высокомерного в нем не было. Выглядел молодо. Может быть, оттого, что неожиданная встреча взволновала его, он во многом походил сейчас на того пытливого, но несколько робкого в ее присутствии юного майора, каким она его знала многие годы назад. Лишь по густой изморози, осевшей на висках, глубокому взгляду да тонким линиям морщин на лбу и около висков можно было сосчитать его года.

— Знакомитесь, чем мы живем кроме службы? — спросил Горин не в силах освободиться от охватившей его стесненности.

— Скорее, простое женское любопытство. Последние

восемь лет я жила и с меньшими, чем у вас, возможностями. Вот Георгию Ивановичу, коренному москвичу, верно, у вас будет скучно.

Сердич сдержанно улыбнулся:

— Едва ли. Михаил Сергеевич такую работу мне предложил, не знаю, скоро ли смогу переступить порог этого дома.

— Придется. И не только порог, но и рампу. Вчера вы так спели, что от повторения номера вам не уклониться.

— Вы слышали? — спросила Лариса Константиновна.

— Только вас. Шел мимо.

— Могли услышать и Георгия Ивановича.

Это был упрек. Сказать, почему не пришел на ужин, он пока не мог, и решил смягчить упрек обещанием:

— В следующий раз постараюсь не упустить такую возможность.

— Вы домой? — вдруг спросила Лариса Константиновна.

— Да, ко мне, ужинать.

— Мне по пути, — и прошла вперед. Перед глазами Горина возник узел ее волос, тугой и высокий, в котором он заметил холодную седину. Она не пыталась и, кажется, не хотела скрывать ее. В этом она более всего оставалась прежней, спокойно-холодной дочерью крупного генерала, рядом с которой робели даже бывалые фронтовики.

Поравнявшись с ней, Горин попробовал возобновить разговор:

— Меня начинает беспокоить опрометчивость, которую я допустил, не воспользовавшись вашим гостеприимством.

Лариса Константиновна опустила глаза и, кажется, не собиралась отвечать. Но вот брови ее чуть сдвинулись, и она сухо ответила:

— Прошло столько лет, люди меняются... но не всегда к хорошему.

— Бывает и так, но вы изменились к лучшему.

Лариса Константиновна повернулась резко и недоверчиво.

Горин поспешил пояснить:

— «Грезы» Листа вы исполняли лучше, чем прежде. В музыке, особенно непрофессионалу, лгать трудно.

— Музыка — мой друг и поверенный, — несколько смягчилась Лариса Константиновна. — Ей можно доверять...

Она старалась говорить так, чтобы у Горина не возникла мысль, что она сожалеет об их давней размолвке. И все же почувствовала, что это ей удалось не совсем. Недовольная собой, она вдруг спросила:

— Вы никогда и ни о чем не жалели?

— Жалел, — сознался Горин. И тут же добавил: — Пока не родился сын. Сейчас ему почти двенадцать...

— Я слышала, у вас есть и дочь. Взрослая.

— Да. Скоро будет педагогом.

Со слов Горина выходило, что до их встречи у него было какое-то увлечение, зашедшее слишком далеко, — когда ухаживал за ней, дочери было около пяти. А казался чистым и потому таким требовательным к другим. Именно это и влекло к нему и сдерживало, ибо в нем было что-то слишком молодое, не устоявшееся. Но если у него была ошибка в жизни, почему же он так круто отвернулся от нее? Но спросить об этом в присутствии мало знакомого человека было нельзя.

Глаза Ларисы Константиновны отчужденно устремились вдаль, смущенный Горин перевел свой взгляд на Сердича. По его лицу он заметил, что тот внимательно слушал их разговор и, кажется, догадался, кем для него, Горина, была когда-то Лариса Константиновна.

— Георгий Иванович, а вы знали Ларису Константиновну в академии? — обратился Горин к Сердичу, чтобы смягчить неловкость затянувшегося молчания.

— Я учился двумя годами позже вас и на другом факультете. Был женат и никого не замечал.

— Ваша жена, видимо, была очень счастливая женщина? — отозвалась Лариса Константиновна.

— Я не меньше.

— И как долго?

— До прошлого года.

— Тогда в вас редкое сочетание души и мудрости.

— Мудрой была жена.

— А вы нет?

— Умным называли. Мудрым?.. — Сердич приподнял плечи. — Думаю поучиться у Михаила Сергеевича.

Лариса Константиновна недоверчиво взглянула на Горина, тот чуть усмехнулся и ответил ей:

— Меня тоже никто мудрым не называл. Быть терпеливым научился — служба не баловала милостями.

Недалеко от дома, где жил Горин, на улицу высыпали мальчишки. С ними был и Тимур, он лихо распоряжался своими товарищами.

— Петька, ты убит, ложись! Тебе говорят, ложись! Мишка, атакуй противника в палисаднике! Скорее!..

Маленький Петя неохотно лег под изгородь, Миша вырвался вперед и застрочил трещоткой.

— Михаил Сергеевич, ваш наследник — заправский вояка, с генеральским баском, — заметил Сердич.

Тимур действительно выглядел грозным начальником ребячьего гарнизона. Его слушались. Беспрекословно и даже с опаской.

Сын напомнил Горину семью, и в том, что в нем всколыхнулось, он почувствовал вину перед ней. Чтобы обрести равновесие перед тем, как появиться перед женой, он решил задержаться и присмотреться к сыну. Михаил Сергеевич повернулся к Ларисе Константиновне, чтобы попрощаться:

— Я почти дома.

Сердич догадался о намерении командира дивизии и, поскольку оставлять Ларису Константиновну одну ему показалось неудобным, он обратился к Горину:

— Разрешите мне зайти к вам немного позже. Боюсь, — улыбнулся Сердич, — если мы оставим Ларису Константиновну одну, у нее появятся недобрые мысли о нашем воспитании.

Горин не позволил себе даже взглянуть им вслед. Сел поодаль и минут десять наблюдал за игрой ребят. Сын несколько раз посмотрел в его сторону и с еще большей старательностью продолжал отдавать распоряжения. Да, зазнайство парня, пренебрежение ребячьим равенством были налицо. Пора что-то предпринять. Поговорить? Но долго ли слова могут сдерживать детские желания? Наказать? Жалко: уж больно увлеченно командовал.

Под взглядом Горина-старшего игра ребят разладилась. Они обступили Тимура, о чем-то зашептались. Горин подозвал их к себе:

— Воюете?

— Понарошку, — ответил за всех сын.

— Кто же из вас лучше всех командует?

— Тимур, — ответил самый маленький из ребят.

— А почему не ты, Петя?

— Не знаю, — мальчик удивленно посмотрел на Горина.

— А как ты думаешь, командир? Почему твои друзья-товарищи не научились командовать, как ты?

Тимур шмыгнул носом.

— Может быть, они тоже хотят быть, как Рокоссовский... Хотите? — обратился Горин к детям.

— Хотим, — дружно проговорили ребята.

— Ну вот видишь, Тимур. А ты командуешь один. Не по-товарищески это.

Ребята почувствовали неладное. Затаенное желание стать таким, как Рокоссовский, конечно, заманчиво, но только веселые игры пока лучше.

— Так как решим?

Ребята продолжали молчать.

— Говори ты, Тимур.

Сын насупился.

— Стесняешься? Не думал, что ты такой, — с шутливой укоризной протянул Горин. — Хорошо. Я понял и помогу тебе. Он хочет, ребята, две недели побыть рядовым. — И, чтобы подбодрить сына, добавил: — Суворов, генералиссимус, в солдатах ходил семь лет. Кого изберем командиром? Петю? Ну-ка, Петя, попробуй.

Ребята не двинулись с места, и Горин подумал: не слишком ли круто обошелся с сыном?

Но менять свое решение уже было нельзя, и он стал подсказывать Пете, с чего начать исполнение должности: построить ребят, рассказать, кому куда наступать.

Игра возобновилась, а Горин сидел и не решался идти домой. В душе кружилась неприятная сумятица. Смешались воспоминания, насторожившиеся чувства, которые, как считал он, в нем давно высушило время, и досада на себя — не смог даже намекнуть, что в давней размолвке если он и виноват, то только не в том, что на свете была Галя, теперь его взрослая дочь. Тогда о ее существовании он даже не предполагал. Хотелось подождать, пока утихнет в душе сумятица, но игра ребят прекратилась. То ли потому, что ребята устали, то ли слишком уж неожиданно произошла смена признанного ими вожака.

— Все, разбили врага? — попробовал пошутить Горин.

— Разбили, — стеснительно ответил Петя.

— Ну, тогда по домам. Пора ужинать.

Горин протянул сыну руку. Тот подошел неохотно, с обиженно опущенной головой. Руку отца не взял. Михаил Сергеевич ласково положил ее на плечо сына. Так они и появились на пороге квартиры.

Открылась дверь. Их встретила Мила. В домашнем она выглядела чуть полнее, но как-то покойнее и добрее. При виде своих ее по-восточному суженные глаза оживились улыбкой, смягчив усталость смуглого лица.

Умеющая почти всегда безошибочно узнавать состояние больного по выражению глаз, цвету кожи, едва уловимым его движениям, она поняла — сын наказан отцом — и перевела настороженно-пытливый взгляд на мужа. Михаил улыбнулся, но в его глазах виделась вина. Почему? Наказал сына и стало жаль? Нет, в таких случаях он бывал иным, веселым и одновременно недоумевающим: вот, с тысячами справляюсь, а сына одного не могу взять в руки. Служебные неприятности он тоже переживает не так, замкнуто, стараясь не беспокоить ими семью. Что же? Опять услышал «Грезы» или встретил ее? Если изменился из-за этого, выходит, Лариса Константиновна для него была не только учительницей.

Стремясь скрыть от мужа охватившую ее тревогу, наклонилась к сыну:

— Что произошло, Тимур?

Тимур искоса взглянул на отца.

— С моей помощью разжаловал себя в рядовые, — ответил за него Михаил Сергеевич. — Начал покрикивать на товарищей.

— Как же так можно? Ты когда-нибудь слышал, чтобы папа кричал на подчиненных? — Слова прятали, приглушали тревогу, и Мила спросила еще: — Сколько же будешь ходить в солдатах?

— Две недели, — неохотно ответил Тимур и боком, все еще хмурясь, пошел в ванную.

На ходу отстегивая галстук, Михаил Сергеевич направился в спальню. Как всегда. Лишь забыл поцеловать ее. Или не смог?

Возникшее беспокойство вызвало в памяти давние встречи. Первая произошла у землянки начальника штаба полка, куда подошла и она, чтобы сделать перевязку раненому. Михаил спросил ее, как пройти к командиру полка. Спросил просто, без той навязчивости во взгляде, с которой обычно смотрели на сестер истосковавшиеся по

женскому вниманию фронтовики. Может быть, потому что после госпиталя был прозрачен, как опасно переболевший ребенок. А вечером появился в тылу полка, где пополнялся его батальон. Заглянул в санроту. Подсел к девушкам, игравшим в фанты. Когда пришла его очередь «откупаться», без отнекиваний стал читать поэму Симонова «Сын артиллериста». Сначала чувствовал себя немного стеснительно, а вскоре сам всем стал казаться тем милым парнишкой, который без матери рос при казарме один, наравне с красноармейцами учился скакать на коне и который только что вернулся из госпиталя, куда попал после того, как вызвал огонь на себя.

Потом были танцы. Он пригласил ее. Вел умело, уверенно и как-то по-товарищески просто. И все время говорил, говорил. Интересно. Даже забылось, что на передовой ждет Тимур. Узнает об ухаживании нового комбата — будет неделю кипеть от ревности.

Тимур прискакал на следующий день. Упрекал, кричал, едва успокоился, а когда началось наступление, Михаил помог ему, и они подружились. Только в санроту «сын артиллериста» уже не приходил. Зашел лишь в Кенигсберге, после гибели Тимура. Не утешал, у него было свое большое горе, — почти весь батальон погиб, штурмуя форт. Потом зашел еще раза три. Кажется, собирался сказать о чем-то, волновавшем его, но так и не решился. Будто Тимур был еще жив и мог обидеться...

Вскоре с дивизией он уехал на Дальний Восток, она — домой. Встретились только через пять лет, когда он, закончив академию, снова уезжал на восток. Разыскал, приехал, а увидел ее, подурневшую, с дочерью, и растерялся. Казалось, поговорит, уйдет и больше не придет. Нет, не уехал. Может, потому, что Галя сразу назвала его отцом, похвалилась девочкам — у меня тоже теперь есть папа. Под конец отпуска, в чем-то пересилив себя, сделал предложение. И потянулась благополучная, но не очень радостная жизнь. Долгие три года был предупредительным, заботливым, ни разу ни за что не упрекнул, ни в чем не отказал. И все же был далеким, почти чужим. Теперь ей, кажется, открылась истинная причина его безрадостной задумчивости в те, далекие теперь, годы — приехал к ней за спасением от неудачной любви.

Не обида, естественная при таком воспоминании, охва-

тила Милу, а что-то такое, что она и сама не сразу могла определить.

В душе Милы смешались и боль, и страх, и незлобивый упрек: «Зачем же?» Она не смогла произнести его даже про себя, как много лет назад не смогла сказать о нем Михаилу, испугавшись самой мысли, что он догадается о возникшем у нее сомнении и возьмет свое предложение назад. С дочерью, без мужа ей столько пришлось тогда пролить слез, что она готова была уехать с кем угодно, только бы избавиться от упреков родных и насмешек соседей: навоевала дочке бабье отчество. И Миле захотелось оправдать Михаила: не многие женщины могут сказать, что годы замужества прожили лучше. Ни одного недоброго слова ни ей, ни дочери, помог стать из медсестры врачом. И любви его ей было вполне достаточно — ровной, теплой, мягкой. Огненная, сумасшедшая — лучше ли она?

Чтобы избежать возможного объяснения, Мила укрылась в кухне. Михаил пришел туда.

— У нас будет гость, — предупредил он жену.

— Хорошо, у меня все есть, — не поднимая головы, ответила Мила.

В голосе и в чуть большем, чем всегда, наклоне ее головы Горин уловил тревожное беспокойство. «Неужели догадалась? — подумал он и тут же успокоил себя: — Не одна же встреча с Ларисой Константиновной вывела меня из обычного состояния: произошел не совсем удачный разговор с Аркадьевым, наказал сына. Рассказать обо всем? А лучше ли будет? Ведь что-то менять я не собираюсь, и едва ли во мне возникнет такое намерение».

Из затруднения помогла выйти жена:

— Ты почему сегодня задержался?

— Был у Берчука, потом на беседе у Аркадьева. Хотелось помочь человеку — обиделся. Пришлось пичкать через «не хочу». Неприятно.

Мила поспешила поверить: так было лучше. Упреки и обиды за подступившую к мужу отчужденность, знала она по судьбам многих семей, лишь усиливали ее и потом затрудняли примирение. Нередко с них начиналось несчастье. Михаил будто догадался, о чем она подумала, снял китель и помог собирать ужин.

Из коридора донесся нетерпеливый голос дочери:

— Папа дома?

— Да, — отозвался он, помедлив. Поставил тарелки на

стол, вышел в гостиную. Увидев дочь, Горин обрадовался — ничего вчерашнего в Гале, кажется, не было, лишь в глазах стоял вопрос: что с Вадимом?

— Тебя волнует, что с ним?

— Да, папа. — Галя кивнула головой и остановила на отце измученный, за сутки повзрослевший взгляд черных глаз.

Они сели на диван.

— У него был Павел Самойлович. Поговорил, поспорил. Кажется, удержал от необдуманного поступка.

— Какого?

— Светланов считает, что путь в будущее ему отныне закрыт, и решил уйти из армии.

— А возможно, он прав — в этом году его уже не пустят в академию...

— Да. Я бы и не советовал. Он общевойсковой командир, а задумал поступать на технический факультет.

— Разве быть инженером хуже, чем командиром?

— Все, Галя, хорошо, что по душе.

— К такому решению он пришел после долгих раздумий.

— Много обычно думают на перепутье, когда не уверены, лучше ли будет новая дорога. Насколько я понимаю, характер у Вадима не тихий. Вероятно, ему надоело командовать взводом, захотелось получить роту. Продвижение затянулось, и он надумал менять профессию на более интересную. Но это может оказаться непоправимой ошибкой. К тридцати трем годам стать рядовым инженером, в подчинение которому дадут несколько машин и десяток солдат, — не для его обостренного самолюбия. А ведь военному инженеру тоже надо проводить занятия, отвечать за подчиненных, выслушивать замечания от начальников... В лаборатории, в космос идут немногие.

К двери подошла Мила. Услышав разговор, она не решилась войти в комнату, но и вернуться на кухню тоже не могла, хотелось послушать. Михаил говорил с дочерью с таким участием, что ей стало немножечко завидно.

— Что же... Ждать? — подавленно, скорее себя, чем отца, спросила Галя.

— Ждать.

— Сколько?

— Маркс ждал свою любимую семь лет. Вадиму достаточно год-два.

— Два года видеться только в каникулы?!
— Разве это помеха для большой любви?
— А как ее узнать, большая она или маленькая?
— Верный признак настоящей любви — острое желание сделаться лучше, чище, умнее. Такой любви хочется очень много сделать для любимой или любимого, для всех людей.
— Вадим умный, папа, но без меня он наделает много глупостей. Он... порой такой несдержанный.
— Если он не думает меняться, любит ли он тебя? Одна твоя любовь и поспешное твое согласие с его желаниями ни ему, ни тебе добра не принесут.
— Что же мне делать? Может быть, пойти и сказать: не будешь умным, гениальным — не пойду за тебя замуж?
— Такой прямолинейности требовали лет сорок назад некоторые недалекие комсомолки. По-настоящему любящие поступают иначе, — чуть обиженно упрекнул дочь Михаил Сергеевич. — Если не чувствуешь, как об этом сказать любимому, хорошо присмотрись к себе, любишь ли ты его?
Галя молчала долго. Губы ее чуть заметно шевелились, будто подыскивали слова, которые правильно бы назвали ее чувство.
— И все же я люблю его, — вскинув голову, наконец ответила она.
— За что?
— Не знаю.
— Тогда в тебе еще не любовь, Галя, а только робкая завязь ее.
— Может быть. Со временем она вырастет в любовь.
— То, что растет само по себе, чаще всего вырастает кривым.
— Но бывают же исключения!
— Ты уверена, что именно ваша любовь будет таким исключением?
— Не совсем...
Помолчали.
— Ты бы хотела с ним повидаться?
— А это можно?
— Почему бы нет, если ваша встреча поможет ему стать умнее? Только хорошо подумай, как сделать вашу любовь красивой, а жизнь — большой.
— Постараюсь, папа.

Мила вернулась на кухню расстроенная, с чувством своей, не совсем понятной ей самой вины. Всего несколько минут назад она подозревала Михаила невесть в чем, а он говорил с ее дочерью с такой добротой, с какой, видимо, не смогла бы говорить с ней сама.

7

Оставшись с Ларисой Константиновной один, Сердич никак не мог подобрать тон и слова, чтобы продолжить разговор. Она о чем-то думала, и вклиниваться в ее мысли неосторожно, казалось ему, было опрометчиво. Но молчать тоже становилось неловко, к тому же в нем снова, в который раз со вчерашнего вечера, возникло желание поговорить с ней о Москве, об академии.

Сердич подвинул пальцем свои черные массивные очки повыше к переносице, изобразил на лице улыбку и сознался:

— Представьте, остался с вами один и почувствовал себя старшеклассником, который не знает, как продолжить прерванный разговор.

— Виновата я? — неохотно отозвалась Лариса Константиновна.

— Не решался прервать ваши раздумья, вероятно, о Горине.

— Кажется, вы очарованы им: не допускаете мысли, что другие могут думать не о нем.

— Я видел много глубоких людей, и прийти в восторг мне трудно. Просто к такому заключению я пришел, слушая ваш разговор.

— Я учила его английскому. С ним было не много хлопот. Во время консультации мы говорили по-английски не только на военные темы. Потом он был проще других, не щеголял бравой выправкой, как многие слушатели-фронтовики.

— Да, тогда у многих из нас грудь была колесом,— улыбнулся Сердич. — Думаю, слабость эта простительна — мы вернулись с победой. Вы, видимо, в академию пришли прямо из института?

— Да. В первые годы после войны это было возможно: английский знали немногие.

Лариса Константиновна подала руку, Сердич пожал ее,

и в эту минуту к дому подкатила машина. Откинулась дверца и тут же с лязгом захлопнулась. За капотом машины показался Аркадьев. Сощурив глаза, он холодно кивнул Сердичу и, круто повернувшись, направился к себе.

Лариса Константиновна догадалась, муж чем-то расстроен, и ей расхотелось идти домой.

Аркадьев действительно был взвинчен. После ухода Горина из полка он вошел к себе в кабинет, сел за стол и долго не мог сдвинуться с места. Недовольство комдива, его поучения и выговор ничего хорошего не предвещали, если даже за него вступится генерал Амбаровский, однокашник по академии. Стараясь понять, за что же комдив прицепился к нему, Аркадьев никак не мог поверить, что причина только в нем самом. Чем больше он думал о случившемся вчера и сегодня, тем больше слова комдива казались ему камуфляжем, а истинная причина была в чем-то другом.

«Возможно, генерал уже позвонил Горину, — подумал Аркадьев, — и намекнул ему на то, что пообещал мне при первой встрече и вчера на ужине. Конечно. А комдив не хочет — в заместители новичку рано, мало поработал в полку. Но пять лет я командовал полком в других дивизиях. Скорее всего, решил продвинуть себе в заместители кого-нибудь из своих. Любимчика Берчука? Но тому скоро на пенсию и нет академического образования. Кто другой? Все командиры полков — молодежь... А... какое это имеет значение для тебя? Главное, из всех выбран не ты. И Горин постарается доказать генералу, что прав».

От этой мысли Аркадьев почти сорвался с места и заметался по кабинету. Быть обойденным теми, кто моложе его и позже окончил академию, для него было все равно, что услышать: вы серость, посредственность и никуда уже не годны.

Аркадьев открыл окно и вдохнул посвежевший воздух, вспоминая свою службу. Вышел из училища, когда война кончилась. Чего стоило молодому, без орденов пробиться в академию! Нелегко было и учиться, понять без боевого опыта простые на вид премудрости войны. Выручала память, успехи по другим предметам, и диплом получил, как у всех. С трудом добился согласия Ларисы выйти замуж, а счастье оказалось не таким уж большим: для нее, чувствовалось, он оставался слушателем, учеником, которому она делала пусть мягкие, осторожные, но все же неприят-

ные замечания, когда он в чем-то ошибался. А ему хотелось большего — восхищения. Не в восторге от него был и ее отец, помог лишь остаться в Москве. Но эти годы, в сущности, оказались потерянными. Правда, в войска пошел сразу заместителем командира полка, через два года дали полк. Но дальше... дальше шли только фронтовики. И теперь, когда пришла пора начавших службу после войны, на его пути образовался завал. Когда перелезешь через него, может быть, будет уже поздно, а случись пара ЧП, вообще могут не пустить дальше. Нет, надо доказать, что дела в полку не так плохи, как о них, видимо, хотят говорить.

Не один раз Аркадьев перебрал в памяти все, что могло ухудшить его репутацию, и, взвинченный воображаемыми несправедливостями, уехал домой.

Лариса Константиновна вошла в квартиру, открыв дверь своим ключом, чтобы не сразу столкнуться с мужем и не дать повода к упрекам. На кухне зажгла керосинки, поставила на них сковородку, чайник и только потом вошла в комнату.

— Что-нибудь случилось? — спросила она как можно спокойнее.

— С чего ты взяла? — не отрываясь от книги, проговорил Аркадьев.

— Видно по твоему лицу.

— Ну, раз видно... — Геннадий Васильевич встал, сверкнул на жену злыми выпуклыми глазами и, только отойдя к окну, через плечо закончил ответ: — Даю отчет: выслушал пространное нравоучение от твоего бывшего прилежного ученика.

— За что? — насторожилась Лариса Константиновна: не проговорился ли Горин об их близком знакомстве.

— Не слишком деликатно обошелся с его будущим зятем.

Лариса Константиновна быстро представила себе, как вел себя Горин при встрече с ней только что, и ничего мстительного в нем не заметила. Зачем же Геннадий сказал такое? Но спросила ровно:

— Ты очень строго наказал офицера?

— За драку на улице менее десяти суток не дают.

— А возможно, офицер был прав?

Аркадьев отложил книгу и сощурил глаза: и жена задала почти тот же, что и начальство, вопрос. Неужели Сер-

дич, мужчина, уже рассказал все Ларисе, а она поверила ему?

— Ты слушаешь всех, кроме мужа!

Аркадьев резко встал и направился в ванную. Холодная вода не погасила обиду. Когда Лариса Константиновна подала ужин, он, поковыряв в тарелке, недовольно отодвинул ее от себя. Достал портсигар.

— Не вкусно? — сдерживая обиду, спросила она.

— Горько!

Лариса Константиновна догадалась: Геннадий ждет слов участия, но произнести их сейчас, когда в ушах еще звенел его выкрик, она не смогла. Медленно, словно руки ее сковал холод, она начала убирать со стола.

Когда составила тарелки на поднос, Аркадьев отчужденно проговорил:

— Мне кажется, мы уже настолько чужие друг другу, что непонятно, зачем живем вместе. Недели не прошло, как приехала, а у тебя для мужа слова не нашлось.

— Молчание, думаю, лучше упреков, — поддаваясь обиде, ответила Лариса Константиновна.

— Умнее, хочешь сказать?

— У тебя появилось желание поссориться со мной?

— Не угадала. Просто вспомнил, как ты произнесла «Михаил Сергеевич?», когда я назвал тебе фамилию комдива. Не он ли тот рыцарь, которого ты так долго помнила, отклоняя мои предложения?

— Боже мой! — простонала Лариса Константиновна. — Шестнадцать лет прошло...

— И все же!..

Возмущение и обида от надоевших упреков хлынули к лицу, в глазах помутнело, захотелось выкрикнуть что-нибудь злое, оскорбительное. Но пришедшие на ум слова были такими пошлыми, что, произнеси их, она сама себе стала бы надолго противной. И примирение, обычно наступавшее неделю или месяц спустя после ссоры, теперь было бы почти невозможно. А дочь любит отца, он ей нужен... Чтобы удержаться от резкости, Лариса Константиновна закрыла губы пальцами, но желание на обиду ответить обидой оказалось сильнее.

— Если уж очень тебе захотелось знать... Да.

— Вот оно что... Вот в чем причина, — теряя уве-

ренность, проговорил Аркадьев, представив, как может с ним обойтись комдив, если ему станет известно о их ссорах.

— Какая причина? — предчувствуя недоброе, спросила она.

— Его нравоучений и выговора.

— Что ты говоришь, Геннадий! — в страхе упрекнула Лариса Константиновна, представив всю унизительность своего положения, если муж только намекнет, что лишь она, давняя знакомая Горина, причина всего, почему к нему стали плохо относиться в дивизии.

— Что думаю...

Аркадьев встал, переломил черные, с острыми стрелками на изломе брови, сделал шаг к двери.

— Ты куда? — спохватилась Лариса Константиновна.

— Разве тебе не все равно? — сдвинул губы Аркадьев.

— Я бы не спрашивала.

— Ну... хотя бы пройдусь по улице, — более спокойно ответил Аркадьев, и Лариса Константиновна не стала его удерживать, надеясь, что прогулка успокоит его и тогда можно будет объяснить мужу всю безобидность ее знакомства с Гориным. Но вот он подошел к серванту, достал бутылку с коньяком и жадно выпил рюмку.

— Ты что обещал, когда звал меня сюда? — На глазах Ларисы Константиновны навернулись слезы.

— Горит.

— Этим не тушат.

— Столько лет прожить чужой...

— Неправда.

— Хочешь доказать, что любила?

— Невозможно, если ты забыл то хорошее, что было в нашей жизни.

— В Москве казаться любимой легко, было где душу отвести, театры на каждом углу. А здесь, у черта на куличках...

— Причина не в этом.

— Любят любого. Ну ладно. Завтра в Москву не уедешь? — усмехнулся Аркадьев. — Тогда успеем выяснить, кто в чем виноват.

8

По крутой лестнице Аркадьев медленно сошел вниз, открыл дверь и увидел группу офицеров, столпившихся вокруг шахматистов. Хотел подойти, но тут же раздумал и быстро свернул за угол дома. На опустевшей улице остановился. Идти было некуда. Во всем городе ни друга, ни товарища. И вообще они как-то растерялись. Те, что были в Москве, забылись, новые не нравились или жене, или ему. Вот и не к кому было податься в горькую минуту. Из здешних знакомых ближе всех был генерал Амбаровский, но он в соседнем городе. Да и не расскажешь ему о многом — начальник.

Злость, которую смягчила рюмка коньяку, снова изжогой подступила к горлу. Ноги сами собой понесли к темному концу улицы. Шаг замедлился лишь в тот момент, когда меж темными молодыми тополями показалась белая крыша домика-коттеджа. Сюда Геннадия Васильевича не раз приглашала в гости Любовь Андреевна, жена заместителя командира дивизии, уехавшего в командировку за границу. Можно было зайти — Геннадий Васильевич задумался.

Три года назад он познакомился с ней в Сухуми, провел несколько вечеров. Там она его побаивалась, здесь, кажется, он — ее. Вот оторопели, не хотят идти ноги, а месяц назад пришлось краснеть — несколько раз прошел мимо и дождался упрека: «Геннадий Васильевич, вы не узнаете или не замечаете знакомых?» — хотя живость и лукаво-ласковая улыбка Любови Андреевны тянули к себе.

Аркадьев остановился. Ему захотелось увидеть ее, посидеть, помолчать, неопределенно вздохнуть и махнуть рукой, если догадается, от чего муторно на душе. Краем сознания прошла мысль: «А может, порвать с Ларисой... и кончится первотрепка? Эта не изнежена музыкой, театрами, в Москве ни папы, ни квартиры».

Как ни одиноко было Аркадьеву, он не решился зайти на огонек. Прошел до реки, бросил несколько камешков в темную воду и побрел назад. Издали кинул на домик взгляд. Света в окне уже не было, от деревьев веяло сном, и Геннадий Васильевич тоскливо вздохнул, представив свою квартиру, спину жены, застывшую в брезгливом ожидании его прикосновения.

Вдруг собственное имя, произнесенное мягко, чуть удивленно, испугало его. Он остановился. В калитке стояла Любовь Андреевна.

— Гуляете, один?!

— Да, прошелся перед сном, — ответил Аркадьев сдавленным голосом.

— Шли мимо, могли пригласить меня. У реки, видимо, чудно?

— Да, красиво.

— Нехорошо. Одна в поздний час я боюсь, — поежившись, проговорила Любовь Андреевна.

— А я считал вас храброй.

— Смотря в чем.

— Не секрет?

— Нет. Заходите во двор, иначе сплетен не оберетесь.

— А вы их не боитесь? — Аркадьев прошел за калитку.

— Нисколько. Муж пока верит. Пойдемте в дом — мы не юнцы шептаться в темноте.

Войдя в дом, Любовь Андреевна зажгла свет, задернула занавеску.

— Вы чем-то расстроены, Геннадий Васильевич? Садитесь.

— Для командира полка испорченное настроение дело нередкое. Сами знаете.

— Знаю. Только служебные неприятности командиры полков обычно переживают в семье.

Поправляя плетеную прическу, отливающую темной медью, Любовь Андреевна через зеркало бросила взгляд на Аркадьева. Тот с горестной усмешкой приподнял плечи.

— Или... быть красивой — быть счастливой, а жить с красивой...

— Вы тоже красивая, — уклонился от ответа Геннадий Васильевич.

— Куда мне до вашей жены.

— У вас одно существенное преимущество — на пять лет моложе.

— Что толку из этого преимущества.

— Да, быть несколько моложе — не всегда благо. Во всяком случае, для мужчины, — уточнил Аркадьев.

— Если жизнь — в одной службе.

— Хочешь не хочешь, а в нее, в сущности, втиснута вся жизнь.

— Не думала, что и вас она оседлала.

— Хотел сам оседлать ее, да не дают. Вот сегодня получил назидательный урок, как надо командовать полком, — ухмыльнулся Геннадий Васильевич.

— От Знобина?

— Н-нет.

— Михаила Сергеевича? — недоверчиво спросила Любовь Андреевна. — За что же?

— Формально — за драку подчиненного, а по существу... — и вдруг в полуулыбке приподнял густые брови: — может быть, вы знаете? Вращаетесь в здешних кругах...

— Ах, какие они, эти круги? Но если хотите, завтра поговорю с женой Горина.

— Ну зачем? От нравоучений еще никто не умирал, если сердечные клапаны не изношены. Лучше расскажите, как прожили эти годы.

— Без перемен, как говорят предсказатели погоды. А у вас?

— Тоже.

— Ну... стали полковником.

Аркадьев окинул взглядом квартиру. Нет, ничто не говорило о том, что у Любови Андреевны появился ребенок. Видимо, от этого вздохнула. Посочувствовать — неуместно. И он начал рассказывать о себе. Она слушала внимательно, с интересом и участием, и Геннадию Васильевичу стало легко, захотелось говорить шутливо, бездумно. Любовь Андреевна, желая дать понять ему, что ее внимание — не легкомыслие соскучившейся от одиночества женщины, благоразумно напомнила:

— Вам пора домой, Геннадий Васильевич.

Аркадьев повернул руку с часами и долго смотрел на них, не решаясь поднять померкшие глаза. Любовь Андреевна догадалась, почему, и у двери сочувственно сказала:

— Будет трудно, заходите. Побудем вместе, и обоим станет легче.

Аркадьев сдержанно улыбнулся.

9

За окном занялся рассвет. Горин открыл глаза, сразу, будто по тревоге. Но телефон молчал. В квартире была дремотная тишина. Только в соседней комнате настенные

часы, подарок министра обороны, мерно отбивали время. Михаил Сергеевич осторожно повернулся на спину, скосил взгляд на жену — не проснулась. Лишь тонкие черные брови ее тревожно вздрогнули, напомнив вчерашний день: разговор с Сердичем и Берчуком, беседу с молодыми офицерами и дочерью, встречу с Ларисой Константиновной. Из всех этих событий только разговор с Сердичем и Берчуком казался законченным. В других что-то было сделано не так, и Горину стало досадно. Не потому ли, подумал он, что не чувствовал в себе обычной уверенности? Но разбираться в самом себе ему сейчас не хотелось, как не хотелось впускать под одеяло утренний холодок, проникший в комнату через открытое окно.

Раздумья о прошлом, как детский кораблик по весеннему потоку, сами собой потекли, куда им хотелось. Они то ускоряли свой бег, то замедляли его и кружились на одном месте. Невольно думалось о том, как быть дальше, как нести службу, чтобы к старости не было тоскливо от того, что многое из задуманного осталось не сделанным, а возможное счастье с Ларисой Константиновной — упущенным. За четверть века в строю он не все выполнил: записки о пехотинцах на войне лишь начал, о жизни полка написал всего несколько статей. А надо бы книгу.

«За такую книгу не поздно взяться и сейчас», — упрекнул себя Горин. Раньше она могла получиться облегченной. Теперь в ней можно использовать то, что найдут для улучшения службы Сердич и Берчук, а согласятся — засесть за нее вместе с ними.

Уверенность заметно уменьшилась, когда подумал о времени. Служба забирала все без остатка. И дальше будет не легче. А может быть, заинтересовать какого-нибудь журналиста? Мысли твои — перо его. Но где найдешь такого, чтобы год жил рядом и насквозь пропитался, переболел всеми болезнями военной службы, сотни раз подумал, что тревожит и лихорадит ее, чем доставляет радость? Наезды мало что дадут. «Так, значит, писать самому? — спросил себя Горин. — Тяжело. А если не торопясь, по две-три странички в неделю, в отпуск побольше? Года за полтора-два можно сбить рукопись, а потом уже пойдет легче...»

Мысли Михаила Сергеевича отклонились к давно минувшему лету сорокового, когда он, семнадцатилетний десятиклассник, надел курсантскую форму, а через год уже

прицепил два кубика. Едва приехал в часть, началась война. Через две недели выступили на фронт. В бой пошли прямо из эшелона, и тут же успех — разгромили взвод разведки противника. А на следующий день не мог удержать на позиции своих «бородачей» — такими казались ему только что призванные, давно забывшие строй тридцатилетние солдаты его взвода. Под напором противника дрогнули, отступили в беспорядке. Когда остался один, стало жутко, но все же обстрелял немцев и только потом, когда показался бронетранспортер, метнулся по кустарнику в лес.

Своих догнал далеко. Показываться на глаза командиру батальона было стыдно. Спросят: где взвод? А что он ответит? Но никто ничего не спросил (было не до того, противник снова наседал), помогли собрать взвод, вывести его на позицию и окопаться. В окопах люди чувствовали себя увереннее и за день отбили три атаки. К вечеру солдаты забеспокоились: далеко в тылу одна за другой вспыхивали деревни — туда прорвались танки противника. И на следующий день, когда в тылу услышали автоматную стрельбу, снова поддались смятению...

Почему в первых боях так лихорадит людей? Ведь воевать хотели, противника ненавидели, а дрогнул один — побежало десять. Как готовить людей, чтобы первые опасности не сломили их — вот что нельзя упускать из памяти в работе над книгой.

Захотелось сесть за стол и записать пришедшие в голову мысли. Приподнялся и тут же повернулся к жене — не разбудил ли. Нет, Мила спала. Вышел на кухню, выпил стакан воды, немного успокоился, и строчки, одна за другой, стали ложиться на бумагу. Удивительно легко выстроился план, из памяти выплыли новые примеры, которые вызывали новые мысли.

Когда Михаил Сергеевич записал главное, ему стало так хорошо, что он не усидел, зашагал по кухне, слегка приподнимаясь на носках. Лишь новая мысль остановила его: «А если кое-что изменить и в проведении занятий? Старый порядок уже приелся. Не лучше ли по каждой теме давать сжатую информацию, только о новом. И тут же вопросы, сколько угодно. Тема уяснена — реши летучку, сложную, с запутанной обстановкой, в которой нужно оценивать не только положение и боевой состав сторон, но и их психическое состояние. Затем разбор ре-

шений — что хорошего в каждом, по какой причине возникли ошибки и какие. А на полевом учении все в реальном темпе...

Когда Мила зашла на кухню, Михаил от удовольствия потирал разгоряченный лоб. Весь стол застилали листы бумаги, исписанные его мелким бегущим почерком. Взял тот, что лежал в центре, и подал жене. Хотя Мила мало что поняла в нем, улыбнулась одобрительно: уж слишком доволен был муж.

— Понятно? — нетерпеливо спросил он.

— Не совсем.

— Помнишь, как было на фронте? Почти все донесения вверх шли из рот. Их собирали в штабе дивизии, корпуса, армии и принимали решения. Потом в обратном порядке бежали приказы и распоряжения. Когда они приходили в батальон, роту — начиналось движение войск. На учениях многое иначе, а должно быть как можно ближе к тому, что может быть на войне.

Михаил объяснял с тем щедрым увлечением, которое приходило к нему лишь в моменты особенно хорошего настроения. И опять, как вчера вечером, она начала думать о вздорности своих подозрений, и потому плохо улавливала то, что говорил Михаил. Но одно ей было совершенно ясно: едва ли есть кто-либо или что-либо на свете, что могло бы теперь увлечь Михаила больше, чем дело, ради которого он встал с рассветом и которым занят всю свою взрослую жизнь. От этой мысли ее охватила нежность, и она добродушно прервала его:

— Иди умывайся, мне нужно готовить завтрак.

Две недели Горину работалось как-то особенно легко. Даже к позднему вечеру он не чувствовал усталости. Составил подробный конспект лекции, набросал замыслы летучек. Оставалось обсудить с Сердичем новый метод работы посредников на учении. Он уже хотел было вызвать полковника, но, вспомнив, что обещал быть в Доме офицеров на репетиции концерта художественной самодеятельности, поспешно сложил бумаги. Когда снял с вешалки фуражку, в кабинет вошел начальник штаба высшего соединения генерал-майор Герасимов. Во взгляде его сизых уставших глаз, во всей его щуплой фигуре был виден беспокойный вопрос: «Ну что вы здесь еще придумали?..»

— Добрый вечер, Михаил Сергеевич, — поздоровал-

ся он мягко. Усевшись напротив, снял фуражку, ладонью провел по редким, как у ребенка, волосам, достал папиросы, но не закурил.

— Вижу, вас удивляет мой приезд?

— Я человек военный.

— Вообще-то, да, в нашей жизни столько неожиданного и контрастного, что, кажется, ничто уже не может нас удивить. — И, помолчав, уставившись в пол, перешел к делу. — Так вот, Михаил Сергеевич. До командира дошло...

— Амбаровский уже утвержден?

— Нет еще, но эта процедура продлится две-три недели, не больше. В Москве его хорошо знает генерал армии Лукин — в войну Амбаровский у него командовал полком. Неплохо относится к нему и командующий округом. Амбаровский солиден, строг, хорошо знает военную грамматику. В общем... Но дело в другом. Мы получили вашу докладную записку. Опять вы увлеклись каким-то новшеством?

— Скорее необходимостью.

— В чем его суть?

— Вы знаете, начало войны всегда трудно для войск. Человеку кажется, что каждый снаряд, пуля летят в него. Отсюда неуверенность, страх, переходящие порой в трусость. Мы решили поискать, как можно обстрелять солдат еще в мирное время.

Герасимов зажег папиросу и, выпуская редкой струйкой дым, в раздумье сморщил маленькое бледное лицо. «Обстрелять в мирное время? Надо бы... Только... поступать так — значит многим рисковать». Сказал немного иначе:

— Отвлечь два полка на такой эксперимент — не станет ли он для дивизии слишком дорогим?

— Смотря что, Дмитрий Васильевич, брать за цену.

— Для нас она одна — оценка на инспекции.

— Ради лучшей выучки войск можно рискнуть высокой оценкой. Временно.

Горин пристально посмотрел на Герасимова, а тому показалось, что комдив упрекнул его в чрезмерной осторожности. Генерал глубоко затянулся, маленькой рукой отмахнул дым и взглянул на Горина. Нет, в глазах Михаила Сергеевича была лишь озабоченность: понимает, чем рискует.

— Намерения Амбаровского не совпадают с вашими, Михаил Сергеевич.

«А как ваше мнение?» — хотелось спросить Горину, но он воздержался, чтобы не поставить генерала в затруднительное положение: за спиной Амбаровского он не станет высказывать иную точку зрения. А Михаилу Сергеевичу хотелось, чтоб там, у себя в штабе, Герасимов поддержал дивизию, и он решился подкупить его откровенностью.

— Прервать начатое, Дмитрий Васильевич, — обидеть людей. Многие увлеклись новинкой, особенно Берчук, кое-что уже найдено. Не вижу, как можно объяснить этот, в сущности, запрет.

— Необходимостью постоянно держать войска в высокой боевой готовности.

— Именно ради этого они и взвалили на себя дополнительные хлопоты, — нетерпеливо возразил Михаил Сергеевич.

Герасимов не нашел убедительного ответа и упрекнул:

— Хотя бы предупредили, посоветовались... Нельзя же начинать такое серьезное дело кустарным образом.

— Раньше времени не хотелось, побоялись шумихи. Помните, как с программированным обучением получилось, забежали на десятилетие вперед, а скорый результат не получился, начали смотреть на нас, как на неудачников.

— Так-то оно так, но сразу на два крупных дела командир не пойдет.

— Благословите на одно.

— Не знаю. Накануне приезда инспекции...

Горин помолчал. Обстоятельства складывались так, что начатое надо было сначала защитить перед своими. Чтобы облегчить задачу, ответственность решил взять на себя.

— Дмитрий Васильевич, разрешите за свои действия перед инспекцией отвечать самому?

— Не уверен, что генерал Амбаровский, особенно сейчас, согласится с вашей просьбой. — И тоном, в котором слышалось доброе предостережение, спросил: — Михаил Сергеевич, а не преувеличиваете ли вы интерес к новшеству у своих подчиненных? У нас есть несколько писем и от людей, уважающих вас, в которых ваша затея называется опасной.

— В некоторой степени, поскольку нужно приучать к опасности. С ней нетрудно нарваться на строгое взыскание, если случится беда.

— Не учитывать такие настроения тоже нельзя. Тем более накануне инспекции. А может быть, Михаил Сергеевич, пока чуть сбавить размах? Временно.

— Инспектировать могут и не нас. Округ большой. Потом инспекция — не последнее очень важное мероприятие. Подойдет другое и...

— Что же доложить командиру? — спросил генерал, давая понять, что от помощи дивизии он не отказывается, но возможности сейчас у него небольшие.

— Инспекцию сдадим не хуже других дивизий.

— Лучшую дивизию согласны в один ряд со всеми? Амбаровский на это не пойдет. Ждите его к себе. — Генерал помедлил и протянул к фуражке сухую, отвыкшую от тяжестей руку.

— Может быть, поужинаете у меня?

— Нет, тороплюсь. Завтра утром надо быть в штабе округа.

10

Завидев в проходе командира дивизии, Знобин встал и пригласил его к себе. В том же ряду сидели Лариса Константиновна и Сердич. Горин поклонился им и сел рядом со Знобиным.

— Эту пару, — замполит кивнул вправо, — я пригласил на генеральную репетицию с некоторым умыслом. Прошу вашего содействия.

— Догадываюсь. Если смогу, пожалуйста.

Подошел начальник Дома офицеров, худенький, озабоченный, и подал программу концерта.

— А почему исключили стихи Забродина? — пробежав программу, спросил Горин.

— Рядом с Маяковским... неудобно, — замялся тот.— Величины несоразмеримые.

— А как отнесся к этому исполнитель?

— Ему объяснили: Забродин недостаточно последователен, чтобы его популяризировать.

— А не получится так: вы лишите солдата возможности прочитать стихи Забродина, а он от обиды возьмет

да станет по стойке «смирно» и по-забродински с завыванием прочитает Маяковского?

Начальник Дома офицеров взглянул на Знобина, прося поддержки. Тот в усмешке прищурил глаза: свое мнение отстаивай сам. Пока офицер собирался с ответом, Горин предложил:

— Давайте все же послушаем этого Кудинова.

Обрадовавшись, что разрешено читать обоих поэтов, Кудинов провел под ремнем пальцами, расправляя невидимые складки, и густым баском начал читать «Во весь голос», а потом стихотворение Забродина «Призыв».

Когда солдат кончил, Горин задержал его:

— Не уходите. Хочу спросить вас: вы любите Забродина?

— Да.

— Почему же взяли не лучшее его стихотворение?

— Понравилось...

— Но после поэмы «Во весь голос» оно представляет любимого вами поэта не слишком выгодно.

— Можно «Верность», — подумав, ответил Кудинов.

— Послушаем? — обратился Горин к Знобину.

Солдат прочитал стихотворение, не жалея голоса. Теперь возразил уже Знобин.

— Не кажется ли вам, боец Кудинов, что в этих виршах много от Я-бродина?

— Вроде есть. Только в поэтическом «я» мысли многих.

— Не в каждом. Нередко только приятелей, друзей — небольшой группки. А войну выигрывают не один-два героя, а миллионы. На них должны работать и поэт и чтец. Понятна задача? Поищите еще что-нибудь. Или прочитайте Семена Гудзенко. Отличный фронтовой поэт.

Посмотрев половину номеров, Горин понял, почему Знобин задумал привлечь к участию в концерте Сердича и Ларису Константиновну: музыкальные номера в программе звучали слишком скромно. Но уговорить начальника выступить перед подчиненными в концерте, знал Горин, все равно, что приколоть к его строгой военной форме яркий бант и предложить пройти по улице, на которой живут сослуживцы. А надо бы. И концерт получился бы лучше, и они быстрее приживутся в дивизии.

Горин пересел к Ларисе Константиновне и Сердичу.

— Еще раз добрый вечер. Подскажите, чего не хватает нашему концерту?

— Музыки, — чуть подумав, ответила Лариса Константиновна.

— А по-вашему, Георгий Иванович?

— Я присоединяюсь к мнению Ларисы Константиновны.

— Какой же выход?

Сердич понял намек комдива и с надеждой посмотрел на Ларису Константиновну, ожидая, что она избавит его от необходимости давать комдиву отрицательный ответ. Она же, стараясь уловить подлинный смысл предложения Михаила Сергеевича, так глубоко заглянула ему в глаза, что, казалось, взгляд ее проник в самый дальний уголок сердца и увидел там то, что он сам не хотел еще разглядывать и тем более кому-либо показывать. Он на миг прикрыл глаза ресницами, но в его словах она все же уловила волнение.

— Мысль привлечь вас к участию в концерте не моя, а Павла Самойловича, — поспешил откреститься Горин от возможного предположения Ларисы Константиновны. — Я лишь согласился передать ее вам. Мне думается, концерт с вашим участием станет, ну, как вам сказать, более теплым, что ли. Я не слишком сумбурно пояснил намерение Павла Самойловича?

— Нет... Я с удовольствием буду аккомпанировать, если Георгий Иванович решится петь, — тронутая взволнованностью Михаила Сергеевича, чуть помедлив, согласилась Лариса Константиновна и машинально коснулась рукой тяжелого узла кос.

Горин перешел к осаде Сердича.

— Если женщина сказала «да»...

Тот застеснялся:

— Удобно ли, Михаил Сергеевич? В дивизии я человек новый.

— Хорошо петь удобно в любом чине и возрасте, вспомните Гремина в «Онегине».

— А вы сами?

— Лишен талантов. Самое большее, на что способен — объявить ваш номер. Если согласитесь с таким моим участием, постараюсь придумать что-нибудь не слишком избитое.

В согласии комдива разделить необычную для стар-

шего офицера роль и тем в чем-то помочь ему было столько дружеского, что Сердич не решился сказать «нет», хотя от мысли, что могут сказать проверяющие в случае неудачи на службе: руководить штабом — не романсы петь, — ему сделалось не по себе.

— Сегодня, с ходу, Михаил Сергеевич, не могу.

— И не нужно — вас же слышали.

Из зала Горин и Лариса Константиновна выходили последними.

— Михаил Сергеевич, — спросила она, — меня очень занимает разнообразие ваших интересов и занятий: командуете, говорят, пишете, следите за литературой, наконец, заинтересовались художественной самодеятельностью. Что это: разносторонность интересов, служебная необходимость или... — Лариса Константиновна повернулась к нему вполоборота, и на ее строгом красивом лице Горин увидел нерешительность и сомнение, — или поиск занимательных занятий?

— Не знаю, как ответить, — полушутливо сознался Михаил Сергеевич. — Любознательным я, кажется, был и тогда, когда вы учили меня. Потом больше знать — стало привычкой. И служба вынуждает. У подчиненных сейчас такие интересы, что без знаний хотя бы наиболее интересного для них можно попасть в неловкое положение. Возьмите этого солдата Кудинова. Он искренне увлечен стихами не только Маяковского, но и Забродина. А у этого поэта много хороших стихов о плохом и немало плохих о хорошем. Почитав их, вольно или невольно солдат может плохо настроиться на атаку.

— Не слишком ли утилитарное требование к поэзии?

— Иным ему быть трудно. Солдаты с вывихом в голове доставляют немало хлопот и бед. И выправить одной командой их невозможно. Приходится читать и Забродина и других.

— А без нужды вы каких поэтов читаете?

— Из современных — Юлию Друнину, Римму Казакову...

Лариса Константиновна недоуменно приподняла плечи.

— Удивлены?

— Не знаю, что и сказать, — созналась она.

— О личном женщины пишут искреннее.

— Возможно, — Лариса Константиновна неожидан-

но вздрогнула и заторопилась к выходу, увлекая за собой Горина.

Через открытую дверь читального зала она увидела мужа, который сидел напротив Любови Андреевны и говорил ей что-то игривое. Заметив жену, Аркадьев откинул руку на спинку стула и с веселым удивлением приподнял густые брови. Оба эти жеста, как показалось Ларисе Константиновне, были сделаны нарочито и с той небрежной широтой, которая особенно была ей нетерпима. Ее опасения, что эту небрежность может увидеть и Горин, несколько улеглись, когда за ней хлопнула клубная дверь, а на лице Михаила Сергеевича она не прочитала недоуменного вопроса. Стараясь подальше увести Горина, она спросила:

— Вы, кажется, не все сказали о своих занятиях.

— Почти все, если не обращаться к прошлому. К тому же...

Сзади послышался стук каблуков. Спина Ларисы Константиновны, словно от внезапного прикосновения чего-то холодного, вздрогнула и настороженно выпрямилась. Горин умолк.

Их нагнал Аркадьев и, сделав Горину короткий поклон, испытующе посмотрел на жену. Та отвернулась. Геннадий Васильевич, плохо скрывая свое раздражение и недовольство, обратился к Горину:

— Прошу извинить, товарищ полковник, нас ждет машина. Если желаете...

— Спасибо. Я предпочитаю пешком. Всего доброго.

Горин поспешил удалиться, чтобы не видеть неожиданно открывшуюся ему семейную неурядицу.

Мимо проскочила машина. Аркадьев и жена сидели на заднем сиденье. Она смотрела в боковое стекло, он — по ходу машины. «Что это с ними стряслось?» — подумал Горин, провожая машину взглядом. Всего минуту назад она была спокойна. Он вроде тоже ничего дурного не допустил. К чему ж тогда она с таким гневом отвернулась от мужа? Умна и должна б догадаться, как это могло уязвить его в присутствии начальника. Разлюбила? Или злится, что муж не оправдал надежд, все еще ходит в командирах полка, а генеральская должность для него и не просматривается? Вроде была не завистлива к людям с чинами. Или слишком виноват в другом? В чем? Кажется, чуть выпил...

Раздумье Горина прервал предупредительно-осторожный голос Знобина, послышавшийся сзади.

— Думается, Люба, вы догадались, о чем я вас спросил?

— Догадалась, — помедлив, ответила Любовь Андреевна и тут же сама спросила: — А что предосудительного в том, что мы оказались вместе, поговорили какой-то час?

— Дело не в том, сколько вы говорили, а как говорили.

— Занятно, как же? — принужденно засмеялась Любовь Андреевна.

— Как? — произнес Павел Самойлович, не находя слов выразить то еле заметное, что уловил он во взаимоотношениях Аркадьева и Любы. Знал он ее давно и хорошо, не раз беседовал по просьбе женщин, сочувствовавших ее мужу, когда ее увлечения подходили к опасной грани, которую она, кажется, не переступала. Знобин чувствовал, что, чем раньше он остановит ее влечение к Аркадьеву, который выглядел несравнимо привлекательнее ее низенького мужа, тем легче будет предостеречь ее от неверного шага, который может обернуться бедой не только для нее.

— Как? — повторил Знобин. — С тем преувеличенным для семейных людей интересом, который вызывает у знакомых вам неодобрение.

— Не у знакомых, а у мещан! — взорвалась Любовь Андреевна.

Знобин помолчал, видимо, дал собеседнице успокоиться и заговорил ровным голосом, в котором, однако, слышалось приглушенное осуждение.

— Хорошо, Люба. Я готов признать свое предположение мещанским, извинюсь перед вами... только ответьте честно: какая у вас сегодня встреча по счету?

— Какое это имеет значение?

— Если я согласился перевести себя в разряд мещан, вероятно, большое.

— Что ж... вторая.

— Четвертая, Люба, — не сдержавшись, упрекнул ее Знобин.

— Какая осведомленность! — возмутилась Любовь Андреевна. — Можно подумать, вы устроили за нами слежку.

— Просто вы попались на глаза тем, кто не хочет, чтобы о вашем муже, о нас, офицерах, говорили плохо.

Горин мало что разобрал из этого разговора и придержал шаг, когда заметил, что Любовь Андреевна направилась к своему дому. Павел Самойлович нагнал его и, сдвинув назад фуражку, озадаченно усмехнулся:

— Ну и разговорчик сейчас произошел...

— С Любовью Андреевной?

— Слышал?

— Немного.

— Красива и остра, как черт.

— С кем это она любезничает?

— Представь, с Аркадьевым.

— Да?.. — удивился Горин.

— Да.

Мужчины подошли к дому. Горин предложил:

— Зайдем. Надо поговорить и о другом. Из штаба Амбаровского к нам приезжает комиссия.

— Если надолго, забегу к себе, иначе жена не приляжет, а ей нездоровится.

Знобин вскоре вернулся, и они поднялись на второй этаж. Дверь открыл сын. Шмыгнул носом, тут же отвернулся.

— Смотри, Павел Самойлович, вторую неделю ходит в рядовых, а хмур, как штрафник.

— За что с ним так круто обошлись?

— Пусть ответит сам, если смелый.

Тимур, переступив с ноги на ногу, с укором посмотрел на отца: зачем рассказывать, срок уже кончается.

— Ребятами командовал не так.

— Как это не так? — Знобин ласково взъерошил волосы на ребячьей голове.

— Покрикивал на них.

— Ты? Никогда бы не подумал, — подняв брови, с шутливым удивлением проговорил Знобин.—Надеюсь, свой басок больше не будешь без надобности пускать в дело?

— Не буду.

Вошла Мила. Горин привычно подошел к ней и поцеловал в щеку.

— Сколько человек прокричало сегодня миру о своем появлении на свет? — спросил вместо приветствия Знобин, пожимая руку Миле.

— Восемь.

— Сколько из них будущих защитников рода и племени нашего?

— Пятеро, но хочется верить, им-то уже не придется переносить лихо войны.

— Надежда, Мила, человечнейшая. Только не сбудется она так скоро.

— На войне так много пришлось увидеть искалеченных и убитых... порой без радости принимаешь мальчиков на свет.

— И все же мы считаем необходимым изо дня в день напоминать им: в поте лица готовьтесь не щадить своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом, — серьезно проговорил Знобин.

— Вы — военные. Павел Самойлович, поужинаете с нами?

— Да, — ответил за него Горин и повел Знобина в другую комнату. Включил свет, усадил за письменный стол, сам сел спиной к темному окну. Их разделяли лишь угол стола да книги. Горин убрал их, подвинул к Знобину пепельницу. Тот потянулся в карман за папиросами.

— Ты, я вижу, готовишься к настоящему заседанию.

— Повестка из трех вопросов.

— О-о!

— Комиссия, Павел Самойлович, к нам действительно приезжает. Но сначала поговорить хочется не о ней.

— С чего начнем?

— С твоего разговора с Любовью Андреевной. Я понял, он был не случайным.

Знобин сделал глубокую затяжку, сбил пепел с папиросы, помедлил и сломал ее в пепельнице.

— Не случайным, — озабоченно подтвердил Знобин.— В тот вечер, когда ты наставлял Аркадьева, Желтиков возвращался домой и увидел его с Любой у калитки ее домика. Вероятно, встретились случайно, он шел от реки. В другой раз его визит в домик заметил Ашот Лазаревич. Копался в садике. Наблюдательности нашего начальника артиллерии, думаю, можно верить. Третью встречу я видел сам. Впечатление у всех одно — встречи не безразличны ни для Аркадьева, ни особенно для Любы.

— Так быстро?

— Не совсем. Любовь Андреевна сказала, что Аркадьева она знает давно.

Сложность семейной ситуации заставила собеседников

надолго задуматься. Павел Самойлович даже встал, открыл окно, втянул широкими ноздрями чуть сыроватый августовский воздух.

— Маловероятно... — протянул в раздумье Горин, — чтоб Аркадьев задумал увлечься Любовью Андреевной. Лариса Константиновна и эта...

— Ну, а флирт?

— Еще менее вероятен. Где им укрыться? Всего несколько встреч, и все стало известно.

— А что ты можешь сказать о семейных отношениях Аркадьевых?

Горин неопределенно развел большие пальцы сцепленных кистей рук.

— Кажется, ссорятся. Не пойму только, кто подает повод. Кажется, Лариса Константиновна.

— Да, она, должно быть, требовательна.

— Исполнение ее желаний зависит не только от него. Мало ли командиров полков сидят без движения по десять лет.

— Считаешь, ее требовательность ограничивается только этим?

— Не знаю. В юности она была иной.

— Думается, иной она и осталась.

— Возможно.

— Тогда причина ссор в Аркадьеве.

— Не будем спешить.

— Можно было бы и подождать, если бы его поведение, допускаю, пока непредосудительное, не затрагивало человека, нашего сослуживца, товарища, уехавшего в трудную командировку.

— Что предлагаешь?

— Надо поговорить с Аркадьевым. Пусть не дает поводов для кривотолков.

— Хорошо. Представится случай, я поговорю сам, — взял на себя эту миссию Горин, хорошо зная жесткую требовательность Знобина к людям, чем-то нарушившим семейные нормы.

Горин вышел из комнаты, чтобы посмотреть, накрыт ли стол, и, когда вернулся, сел с Павлом Самойловичем рядом.

— Сегодня у меня был генерал Герасимов. Предложил свернуть наше начинание. Правда, временно, пока не сдадим инспекцию.

— Что ему ответил?

— Не желательно.

— Не можем! — резко отозвался Знобин. — Люди увлеклись, готовы перелопатить горы, но найти алмазы, а они — свернуть... Ни в коем случае!

— Мы подчиненные...

— Пока приказа нет, будем отстаивать. Но, думаю, хорошо не разобравшись, Амбаровский со своим штабом не издаст приказ, а разберется — рука не поднимется.

— Будем надеяться. Вероятно, и сам Амбаровский к нам приедет.

— Хорошо. Люблю с ним говорить. Кстати, на ужине у Аркадьева мы с ним не закончили спор по твоей статье о военном искусстве.

— Как будем встречать?

— Спокойно.

— Но предупредить людей нужно. Чтоб было меньше поводов для упреков.

— Согласен.

— Командирам полков скажу я, вы с Сердичем по своим линиям. Занятия проводить как обычно, опытные не откладывать.

Мила пригласила к столу. После ужина они ушли гулять, чтобы закончить прерванный разговор.

Когда щелкнул дверной замок, Мила задумалась. Случай, когда они без нее, с глазу на глаз, обсуждали свои дела, был не первым. Однако сегодня какое-то происшествие, кажется, очень близко коснулось обоих. Расспрашивать Михаила она не имела привычки — что было можно, он рассказывал сам. Но спокойно ждать, оставаться безучастной к случившемуся тоже не могла. Ей хотелось как-то разделить беспокойство Михаила. И она решила: когда он вернется с прогулки и, как обычно, начнет просматривать журналы, присесть к нему, и он поймет, расскажет.

Вернувшись, Михаил Сергеевич сел в кресло, она подошла к нему сзади, осторожно дотронулась пальцами до мягких, у висков подбеленных волос, зачесанных с пробором. Михаил не отодвинул голову, и тогда она спросила:

— Что случилось, Миша?

Откинув голову назад, Горин взглянул на жену:

— Люба, кажется, увлеклась.

— Кем?

— Новым командиром полка, Аркадьевым.

Когда Михаил спросил, что, по ее мнению, может влечь их друг к другу, она пожала плечами.

— Видно, не только страсть, раз он пошел на риск.

— А если любовь, их не следует порицать? — Горин поднял голову и посмотрел Миле в глаза.

— Любе трудно — ей хочется иметь ребенка. Аркадьева... можно было бы понять, если бы жена была хуже Любы.

Михаил Сергеевич отвел взгляд в сторону и долго молчал, обдумывая запутанную ситуацию. Ничего не решив, переменил разговор.

— Где Галя?

— Дома.

— Они виделись?

— Нет еще.

— Поговорить с ней?

— Может быть, размолвка к лучшему?

— Не думаю.

— Тогда зайди к ней.

11

Разговор с отцом заставил Галю задуматься: любовь ли звенит в ней или только эстрадная песенка про нее. Если ночью, когда Галя продолжала про себя спорить с отцом, ей казалось, что она любит Вадима и любит по-настоящему, то утром ей уже было немного совестно своих слов: проснувшись, не сразу подумала о Вадиме, а подумала... и сердце не дрогнуло от боли, не потянулось к нему.

После завтрака взяла книгу и ушла на реку. Но ни читать, ни плавать, ни разговаривать с кем-либо не хотелось. И она побрела вниз по течению. Остановилась лишь у молодой ели, еще совсем недавно красовавшейся на высоком речном берегу. Но берег обвалился, и дерево обреченно склонило свою малахитовую вершину в прибрежный омут. Гале было жаль красивой елочки, и каждый раз, когда она выходила на реку, она навещала это место.

Сегодня Галю особенно потянуло к этому высокому тихому берегу, где так хорошо думалось и чувствовалось.

Жаль только, что слишком уж спокойно и грустно было у нее на душе. Как после болезни или большой усталости. И девушке все больше стало казаться, что чувства ее к Вадиму не столь уж глубоки, а любовь их — не исключительная. Вадим чаще представлялся таким, каким видела его во время скандала в парке, почти безумным в охватившем его гневе. Лицо его пугало, и Галя никак не могла придумать, с чего лучше начать с ним разговор, когда придет на свидание.

Ее неуверенность в том, должна ли она идти к нему или нет, вызывалась еще и тем, что за год их знакомства Вадим ни разу не сказал ей о своей любви. Да и вообще мало говорил о своих чувствах. В спорах он не раз заявлял: «Многословие — пережиток прошлого: к чему слова, если жестом умному человеку можно сказать больше и лучше, а главное, правдивее». И она согласилась с ним, и сама говорила подругам о том, что слова не всегда обязательны в человеческих отношениях, люди стали интеллектуальнее, и потому слова часто можно заменять скупыми, но выразительными жестами — в них больше поэтичности, чем в самых возвышенных монологах.

В раздумьях и сомнениях прошла неделя. Не раз Галя решала завтра же пойти к Вадиму. Но наступало завтра, и она снова шла к елочке. Лишь за день до окончания ареста Вадима она почувствовала, что ее потянуло к нему. Она побежала домой, чтобы позвонить отцу и попросить его устроить встречу с Вадимом. Когда же сняла трубку — усомнилась, поймет ли Вадим, почему она сама решила прийти к нему, не усмехнется ли, увидев ее? Не скажет ли: любимым условий не ставят, любят такими, какие есть? Если произойдет все так — их встреча может кончиться ссорой, и ее слова отцу о том, что их любовь настоящая, окажутся пустым бахвальством.

В последний день ареста Вадима Галя направилась в штаб на свидание с ним. Сумрачный вид комнаты, где Светланову сказали подождать, задержал ее на пороге, и она не сразу увидела его. С книгой в руках он сидел у окна. Выглядел совсем не таким, каким представлялся ей. Похудевшие щеки отливали изжелта белым глянцем; тонкие губы сжались в сдержанной улыбке, отчего лицо стало мягче, в нем исчезла та испугавшая ее исступленность, с которой в саду он бросился на парня. Вадим был

собран, читал книгу сосредоточенно, с карандашом в руке, и не услышал, как она открыла дверь. Галя обрадовалась этой перемене, вся подалась к нему, и с ее губ само собой сорвалось его имя. Она прошептала его, но ей показалось, что она крикнула, потому что он вскочил, сделал навстречу несколько шагов и вдруг растерянно остановился. Так они стояли с минуту или две, пока он, устыдившись своего порыва и того, что она увидела его иным, почти смирившимся — всего через несколько суток ареста! — опустил, будто от усталости, правое плечо и коротким взмахом руки пригласил сесть. В этом жесте было что-то вызывающее и неприятное. Галя прошла к стулу, села и подняла глаза на Вадима.

— Ты не ожидал моего прихода?

Вадим смутился под ее взглядом: он не мог сознаться, что и ждал ее и не верил, что она придет.

— Сегодня нет, — ответил он холодно, чтобы скрыть встревоженные ее приходом чувства и тем предотвратить возможную сентиментальную сцену, которая никак бы не вязалась с его запутанными раздумьями.

— А я вот пришла...

— Наперекор мнению папы и мамы? — усмехнулся Вадим.

— По их совету.

Глаза Вадима удивленно округлились и тут же сузились от недоброй усмешки.

— Чем же вызвано их столь трогательное внимание ко мне?

— Всего лишь желанием удержать тебя еще от одной глупости!

Голос девушки дрогнул от обиды, и Вадим, довольно скептически думавший о «добром» отношении к себе комдива и его жены, именно потому поверил, что они, может быть, как и полковник Знобин, по-человечески заинтересованы в его судьбе. Однако переломить себя сразу не смог.

— Твой папа мог это сделать лично и не приближаясь к опасной грани. Твой приход сюда люди могут расценить некрасиво, и на его безупречный мундир падет темное пятно.

— Я верила, надеялась, что в тебе достанет ума понять более сложные причины человеческих поступков. Кажется, я ошиблась...

Ответ прозвучал пощечиной. Вадим понял, что заслужил ее, и хотя в нем все еще не прошло желание противоречить, он все же не дал сорваться с языка грубому ответу.

Молчали долго, не зная, как возобновить разговор, чтобы сказать то многое, что скопилось у них за долгие дни разлуки.

— Вадим, — спросила наконец Галя, — что ты делал, о чем думал? Там...

Услышав тихий примирительный голос Гали, Вадим стыдливо отвернулся к окну и невесело ответил:

— О многом. Хотя полковник Знобин и нарисовал довольно сносную картину моего будущего, мне оно представляется мрачным.

— Почему?

— Мне двадцать семь. На следующий год двадцать восемь — предел для поступления в техническую академию или высшее инженерное училище...

— Скажи, Вадим, почему ты решил изменить своей профессии? Разлюбил ее или открыл в себе влечение к технике?

— Техника сейчас все: хлеб, победа, романтика, искусство...

— Разве у вас мало техники?

— А, какая она во взводе и роте?!

— Не вечно же ты будешь командиром взвода...

— Век — понятие относительное. У взводного — он десять лет недреманных бдений и в награду — еще на десять должность ротного командира или запас. И поскольку на четвертом десятке в гражданке обновиться крайне трудно, остаются человеческие задворки.

— Извини, но, по-моему, задворки люди устраивают себе сами.

— Примерный ответ будущего педагога своим ученикам, — озлобляясь, бросил Вадим.

— Ты бы хотел, чтобы я повторяла твои... — Галя все же сдержала себя, чтобы не сказать слово «пошлости». Но от острой обиды ее плотно сжатые губы мелко задрожали, и она заплакала.

А Светланов растерянно смотрел на ее вздрагивающие плечи и не знал, что делать, как извиниться за обиду, нанесенную им так бездумно. Он сделал два робких шага к Гале, но она не услышала их или не захотела услы-

шать, чтобы не смотреть на него и не видеть его раскаяние за опрометчивое слово. Вадим остановился: «А глубок ли ты, друг, если в одно мгновение вскипаешь от пустяков? Что с тобой было бы, если бы тебе пришлось испытать то, что перенес Знобин? Видимо, высох бы совсем, превратился в пепел». И Вадим стал себе противен. Ему захотелось уверить Галю, что он очень хочет и может стать лучше.

— Все, что угодно... Хоть жизнь, Галя... — сдавленно проговорил он.

Девушка вскочила, испуганная голосом Вадима, и увидела на его лице отчаяние и просьбу не оставлять его.

— Вадим, Вадим, я верила и верю...

Отдавшись охватившему ее чувству, она положила руки ему на плечи и ласково посмотрела в глаза. Она ждала, что Вадим поцелует ее, но он лишь дотронулся до ее лба своим твердым и горячим лбом — поцеловать сейчас, когда он ничем не доказал свою любовь и не сказал о ней каких-то особых, на всю жизнь памятных слов, для него было все равно, что взять в долг, не будучи уверенным, что вернешь в срок, сполна и с благодарностью.

— Ты любишь меня? — уловил он на своих губах дыхание Гали.

— Об этом не сейчас и не здесь, — ответил он, чуть отстранившись от девушки.

— Тогда помолчим вместе.

Вадим положил стул на бок, и они сели на него рядом. Им было немного тесно, неудобно, но хорошо. Молчали недолго.

— Ты знаешь, какое мое настоящее имя?

— Галя.

— Нет, Галия, а моей мамы — Камила, она татарка. У брата тоже обрусевшее татарское имя — Тимур.

— Можно подумать: мама — у вас глава семьи, вас обоих назвала по-своему, в память о своих родных или близких...

— Глава? У нас, кажется, нет главы. Честное комсомольское. Как-то так, все поровну.

— Трудно поверить. Власть, главенство везде и всегда у военных входит в привычку, а через нее и в кровь.

— Честное слово, хочешь, приди, убедись сам. Папа даже картошку чаще меня чистит.

— Как-нибудь попозже... если ничто и никто не переменится.

— А ты знаешь, мысль, что тебе не надо менять военную профессию, высказал папа.

— Кажется, обо мне знают и заботятся больше, чем можно было предполагать. Почему?

— Не думаешь ли ты, что они видят в тебе незаменимого жениха? — шутливо спросила Галя.

Упрек был верный: для родителей Гали, которые его знают в основном как скандалиста, он действительно жених незавидный. «Так почему же? Переубедил их полковник Знобин? Если так, значит, поверили, что могу быть иным, и, видимо, стараются помочь стать этим иным, лучшим». Ответил спокойно, без ожидаемой Галей обиды.

— Уже не думаю так, Галя... Я буду называть твое имя, каким услышал в первый раз, по-русски... Хорошо? Да ты, наверное, и сама не знаешь татарского языка.

— Знаю, только плохо — с той поры, когда нас нашел папа, я говорю только по-русски.

— Почему он вас искал?

— Мама уехала с фронта, мы и потерялись. Так что я могу хвастаться — опалена огнем войны.

— Я тоже, когда возвращались из эвакуации, попал под бомбежку.

Помолчали.

— Скоро мне уезжать... — грустно сказала Галя.

— На целый год.

— На полгода.

— И полгода — большой срок.

— Маркс ждал свою Женни семь лет.

— То же Маркс.

— А тебе ждать не семь лет, а год, ну, может быть, два. Я закончу институт, ты поступишь в академию.

— Два минимум.

— Пусть три. Но врозь — только год.

— Буду набираться терпения.

Вадим встал. Галя поняла: пора прощаться. Она подала ему руку, он помог ей встать. С минуту они смотрели друг на друга счастливыми влюбленными глазами. Потом Галя на одном каблуке круто повернулась и почти вприпрыжку выбежала из комнаты.

12

Небольшой лекционный зал штаба дивизии, увешанный разрисованными во многие цвета схемами и таблицами, до последних рядов заполнили офицеры. Среди них были капитаны и даже лейтенанты. Горин часто разрешал им слушать свои лекции, чтобы узнать, кто тянется к знаниям, и потом следить за его ростом.

Пришел сюда и Вадим Светланов. Впервые. Весь он был в напряжении, боясь услышать: «О, на лекцию пожаловал и будущий зять». Он понимал, никто этих слов не произнесет, но отогнать их не мог. Раза два поворачивал от двери, но желание узнать, чему же учат в академии, в которую советовали поступить и ему, а еще больше — самого лектора, командира дивизии, помогло справиться с робостью, и он переступил порог зала.

Горин, сцепив руки за спиной, с чуть заметным нетерпением медленно прохаживался у доски. Он ждал, когда придет генерал Амбаровский, который накануне приехал в дивизию и остановился у Аркадьева. Того тоже еще не было, видимо, задержался с гостем. Горин представил, каким довольным будет Аркадьев рядом с генералом, и ему стало неприятно. Остановился, сдвинул негустые брови и коротко, чтобы никто не заметил, вздохнул.

Наконец дверь открылась и в ее проеме, будто в подрамнике, во весь рост вырисовалась плотная фигура генерала. На его губах еще виднелась довольная улыбка, смягчившая строгие черты его смуглого лица. Но вот он переступил порог и весь стал тем, каким, как он считал, должен быть на службе, особенно на проверке — сдержанно-суровым ко всему, что может быть расценено как непорядок или упущение по халатности.

Командир дивизии поднял офицеров и ровным шагом пошел навстречу генералу. Остановились почти одновременно. Взгляды их скрестились. В глазах Горина Амбаровский увидел что-то колкое и невольно перевел свой взгляд на его губы и тут же снова посмотрел комдиву в глаза. В них было строгое спокойствие и, может быть, еле заметное напряжение, видимо, от того, что генерал задержал начало лекции и командира полка. «Ну что ж... следует ли возводить в принципиальность мелочи?» — спросил про себя Амбаровский и цепко пожал Горину

руку. Разрешив всем сесть, уверенно прошел в первый ряд, где в ожидании его стоял приехавший с ним начальник ведущего отдела штаба полковник Рогов, высокий, черный, с тем терпеливым взглядом проницательных глаз, которые многое понимали, но сторонились ввязываться в происходящее.

Командир дивизии взял черную указку, соединенную шнуром с эпидиаскопом, и начал лекцию.

— Совсем недавно в этом зале делался обстоятельный обзор изменений, происшедших в оперативном искусстве и тактике за последнее время. И все же сегодня значительную часть лекции я вынужден посвятить новым изменениям в военном деле. У некоторых товарищей, возможно, возникнет вопрос: когда же кончатся эти самые изменения и можно будет, как таблицу умножения, заучить устоявшиеся на долгие времена положения, правила и принципы, чтобы не краснеть и не слышать упреков от инспектирующих и проверяющих. Должен огорчить ждущих такой таблицы: ничего неизмененного, особенно теперь, когда в военном деле продолжаются революции, быть не может.

Особенность нынешнего этапа изменений в способах вооруженной борьбы состоит в том, что американский империализм, утратив превосходство в новейших средствах вооруженной борьбы, выдвинул стратегию «гибкого реагирования». Цель ее — расширить возможности для агрессивной инициативы, в первую очередь против социалистических стран, а также тех государств, которые попытаются вырваться из клещей империализма или отстоять свою национальную независимость. На основе этой стратегии развернуто дальнейшее наращивание ракетно-ядерной мощи и широкое увеличение обычных вооруженных сил, повышение их огневой мощи и мобильности с тем, чтобы обеспечить возможность ведения войн в любой точке земного шара, с применением ядерного оружия и только обычными средствами поражения. Отсюда мы еще с большей необходимостью должны следовать нашему давнему принципу — в совершенстве владеть всеми способами и средствами вооруженной борьбы. Только в этом случае мы сможем успешно отразить или сорвать любую агрессию.

Чтобы хорошо понять суть такой борьбы, всем нам нужно обратиться к опыту Великой Отечественной вой-

ны. Он настолько богат, настолько многообразен, что для любой военной ситуации можно отыскать в нем подобие, с помощью которого легче найти решение на бой или ответ на какой-то теоретический вопрос. Но, изучая прошлый опыт, нужно помнить, что современные обычные средства поражения намного совершеннее тех, которыми пришлось воевать нам. Следовательно, и возможности их иные, большие. Однако возрастание возможностей военной техники автоматически не ведет к пропорциональному увеличению темпов боя и операции. Противник тоже усовершенствовал свою технику, повысил ее поражающие свойства. Чтобы подтвердить это, приведу один пример. Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война начались в июне, с разницей в два дня. В начале войны фашистские моторизованные войска наступали в высоком темпе. Но как только в войну вступили наши стратегические резервы, темпы наступления резко упали, и к Москве армии противника подошли почти на три месяца позже наполеоновских корпусов.

Постепенно стеснение от присутствия проверяющих прошло, и Горин стал читать лекцию с тем спокойствием, которое делало ее похожей на вдумчивую и доброжелательную беседу. Такой, может быть, она получалась еще и потому, что взглядом он часто задерживался на чьем-либо лице, и тому казалось, что самое нужное и трудное комдив говорит только ему.

Поначалу не все в лекции старшему лейтенанту Светланову было понятно и интересно, и потому он невольно стал наблюдать за поведением полковника. Вот он положил указку, подошел ближе к слушающим и заговорил тише, обращаясь с новой мыслью то к одному, то к другому офицеру. Просто, будто к товарищу. И все же разница между тем, кем был Горин, и слушающими полностью не исчезала. Она заметно возросла, когда полковник, используя философские категории, начал раскрывать движущие силы боя. Бой стал понятнее, а сам полковник вроде ближе, но разница возросла, и настолько, что представлялась непреодолимой. Открылась ему разница между Гориным и теми полковниками, под началом которых ему довелось служить. И простота командира дивизии стала вызывать в нем подозрение: не может быть, думал он, чтобы талантливый человек не хотел блеснуть своим умом, не использовал его для того хотя

бы, чтобы скрасить свою скромную внешность. В представлении молодого офицера значительное должно выглядеть значительным, видным сразу, чтобы отношение к нему по меньшей мере было сдержанно-уважительным. Так показывалось во многих картинах, даже о будущем. Не веря в простоту полковника, Светланов еще раз осмотрел его от пепельной гладкой прически с косым пробором до кончиков худых пальцев, державших кусок мела. Нет, все в нем было такое же, как в начале лекции, и кажется, такое же, как год назад, когда Светланов увидел его впервые. Какая же причина? Лишен тщеславия? Или действительно всегда хочет быть ближе к людям?

Закончив изложение сложного вопроса, Горин остановился, обвел взглядом зал, спросил:

— Что кому непонятно?

Грузно поднялся полковник Берчук.

— Прошу еще раз объяснить снижение боевых возможностей войск от потерь, степени подавления и характера маневра. Что-то не улеглось.

Лектор медленно, в раздумье прошелся с одной стороны зала на другую, повернул обратно и остановился на середине. Когда в голове сложился более доступный способ объяснения, положил указку на кафедру и закинул руки за спину.

— Несколько дней назад мы с вами, Алексей Васильевич, были на вашем стрельбище. Помните, что ответил командир роты, когда я спросил его, как стреляет рота? Хорошо. А когда мы с вами пристроились к лучшему стрелку, сержанту, и пошли за ним по пятам, он отстрелялся намного хуже, чем мог. Почему? Изменились условия стрельбы, от присутствия начальника сдали нервы.

Теперь, представьте, какое потрясение получат солдаты, когда по району обороны будет нанесен ядерный удар. При этом, как известно, далеко не все будут убиты. Но боеспособность оставшихся не останется одинаковой. Вблизи переднего края она будет равна примерно десяти процентам, а в глубине, при таких же потерях, сорока — пятидесяти процентам. Почему? Войска будут иметь разное время для ликвидации последствий ядерного удара, восстановления духа...

То, как читал Горин лекцию, командиру корпуса нравилось. Свободно, без шпаргалок, по памяти. Не всякий лектор академии так мог. Но многое из того, что говорил

и доказывал комдив, Амбаровский считал или ненужным, или несвоевременным.

Когда Горин перешел к определению того, что минимально должно быть согласовано при организации взаимодействия, Амбаровский повернулся к начальнику отдела своего штаба.

— Такое взаимодействие, по-моему, обернется неразберихой.

— Не исключено, — помедлив, ответил Рогов. — Но организовывать его более подробно... сейчас нет времени.

— Разжевывать мелочи, конечно, излишне. Запасники командовать полками не будут, достаточно командиров с академией. Только ограничивать свои указания десятком слов — можно выпустить из рук вожжи. Полки разбредутся — на самолете не найдешь.

Рогов открыл блокнот, подумал и записал несколько слов.

Горин заканчивал лекцию.

— На многих предыдущих занятиях и сегодня вы получили определенную сумму знаний. Но нам этого совершенно недостаточно. Надо уметь практически применить свои знания, тогда можно будет сказать, что командир готов вести сложный бой. И чтобы научиться мастерству вождения войск, первоначально постарайтесь как бы забыть все, что вы знаете... — По залу пробежал тихий вздох удивления, но Горин настойчиво продолжил: — Да, забыть, и забыть настолько, чтобы знания не стесняли вас при изучении обстановки и принятии решения. Бойтесь ошибок, но еще больше бойтесь шаблона, сходных решений и привычных действий. Ищите разнообразия, через него подойдете к настоящему мастерству.

Во время перерыва Горин проводил Амбаровского к себе в кабинет.

Генерал закурил, нетерпеливо прошелся, взглянул на комдива, все еще светившегося удовлетворением, подождал, пока он отойдет от лекции, и с иронией спросил:

— Скажи, не слишком ли размахнулся с психологией? Даже в проценты ее перевел.

— Точность перевода, конечно, относительная. Но, думается, она все же позволила более определенно выразить психологическое состояние войск обороны к концу огневой подготовки, — ровно ответил Горин и добавил: — Проценты я взял из журнальной статьи.

— Ну, а что придумано в дивизии по этой морально-психологической подготовке?

— Почти на всех занятиях создаем различные помехи, пропускаем солдат под танками. На командно-штабном учении с помощью магнитофонов и усилителей попробуем имитировать звуки и шумы боя. Чтобы лучше создать ощущение опасности, ряд учений намерены совместить с боевыми стрельбами артиллерии и танков...

— Не обижайся, но во всем этом столько реального и нужного, сколько и в твоей статье о военном искусстве науки. В основном шумы ради шума. А совмещением учений со стрельбами вы создадите только условия для чрезвычайных происшествий.

— О своей статье судить не мне...

— А ты суди и защищай ее, защищай, может, редакция что урезала, и я не все в ней уразумел, — с нескрываемой усмешкой проговорил генерал.

В кабинет вошел Знобин.

— Подмога пришла, — подавая ему руку, скупо улыбнулся Амбаровский. — Говорили об одном, перешли на другое. О том, чему нам с вами не дали договорить на ужине у Ларисы Константиновны.

— А... Если не помешаю, с удовольствием приму участие. — Знобин задиристо прищурил левый глаз, как бы вызывая Амбаровского на равный бой. Амбаровский разгадал его умысел.

— Вам и первое слово. Только покороче, мы уже успели сломать не одно копье.

В голосе Амбаровского послышались недовольство и настороженность: видимо, вспомнил, как неприятно обернулся для него разговор на ужине у Аркадьева. Знобин убрал с лица улыбку и проговорил с иронией, которую можно было отнести и к нему самому:

— Болтливость — качество, не украшающее политработника. Поэтому постараюсь мысль свою выразить коротко и ясно. Думаю, вы согласитесь с основным тезисом статьи Михаила Сергеевича: искусство не существует без науки, но ученость не всегда способна заменить искусство. Он не нов, этот тезис, его высказывали все полководцы и военные теоретики от Юлия Цезаря и Клаузевица до Фрунзе и Тухачевского. Но почему-то лентяи забывают его первую часть, а грамотеи не особенно любят вторую...

Амбаровский сузил веки, глубоко затянулся. Надо отвечать — ждут. И ответить так, чтобы один уменьшил пыл, а другой наконец понял, что на войне, когда армии нужны будут тысячи и тысячи командиров, талантов не наберешься. Поэтому всех нужно учить, и покрепче, элементарной военной грамоте.

— Вы хорошо помните сорок первый год? — неторопливо спросил он.

— В плохую погоду особенно — раны ноют, — ответил Знобин.

— Так вот, из многих причин наших неудач существенной, быть может, даже очень, была такая — слабая выучка многих дивизий и особенно командиров. По оценке Сталина, помните, кадровыми наши войска стали только в конце сорок второго года.

— К тому были свои исторические причины. Вы о них знаете.

— У каждого времени всегда находятся свои причины неудач. Поэтому, оценивая опыт, надо помнить, что явилось стержнем, который позволил изменить боеспособность армии. Он — в выучке войск.

— В своей статье, товарищ генерал, — спокойно вступил в разговор Горин, — я не противопоставляю выучку командира его талантливости. Выучка есть. Что дальше? Кому мы должны давать предпочтение при новых назначениях, просто знающим или думающим?

— Было и будет: тому, кто лучше работает. Это единственный и объективный критерий, как сейчас модно говорить. И я к вам приехал посмотреть, куда вы ведете дивизию. Если снизили боевую готовность, достанется всем по самую завязку. Говорю прямо.

13

Командно-штабное учение началось под вечер. По тревоге прямо из городков штабы, означавшие головы колонн своих полков, выступили на марш. Самостоятельной колонной вышел и штаб дивизии.

Полковник Горин вместе с полковником Роговым покинул городок последним, когда почти совсем стемнело.

По условиям розыгрыша боевой тревоги Горин задер-

жался в штабе и тем предоставил полкам время действовать самостоятельно. Долго ехали молча. Горин думал об ошибках, вскрытых проверяющими за первые два дня работы в дивизии. Многое привезли с собой те, кто был переведен в дивизию в последнее время. А таких было немало. Из коренных дальневосточников только у Берчука недоделок оказалось больше, чем ожидал. Это вызвало досаду, но не на Берчука. Почему только в его полку проверяющие спрашивали по полному осеннему счету? Решили найти предлог для увольнения? Или ударом по лучшему решили подстегнуть всю дивизию? Но это же... одному с избытком, а другим — легкий щелчок. Попробуй потом переубеди, что у них дела не лучше.

Еще раз представив возможный итог проверки, Горин попытался успокоить себя: плохим он не будет, а к приезду главной инспекции можно подчистить заусенцы и вернуть дивизии ее обычную оценку, по которой, в сущности, и будет определяться отношение к дивизии и к нему самому. Но, хорошо зная напористую требовательность Амбаровского, Горин озабоченно потемнел: как бы своими замечаниями с пристрастием он не пошатнул уверенность людей: случится это — за неделю и даже месяц восстановить ее будет трудно.

В какой-то мере уравновесить требования с возможностями мог тот, кто сидел на заднем сиденье. Из офицеров корпуса обычно он писал разбор. Горин подумал, не попытаться ли расположить его к дивизии. Взглянул через зеркало на Рогова, который сидел замкнуто, будто чувствовал, что хотят притупить его перо, и ему стало совестно. Все же, когда свет фар уперся в темную стену леса, Горин коротко произнес:

— Подъезжаем.

— Как долго продлится учение?

— В соответствии с приказом командующего округом — двое суток.

— Вы, как всегда, стараетесь быть абсолютно точным.

— Приказ есть приказ. К тому же вы проверяете.

— Мы — свои. К нам в войска едет инспекция... На днях генералу позвонили из Москвы. Он остался посмотреть стрельбу. Может быть, командиров полков лучше вернуть домой?

Со слов Рогова выходило, что он сам предлагал помощь. Прими ее, и, возможно, он смягчит в тексте разбора

те грозные упреки, которые выскажет по ходу проверки Амбаровский. Но возможная обида Сердича — учение разработал зря — и ущерб выучке офицеров заставили Горина отказаться от помощи начальника отдела.

— Видите ли, Илларион Иванович, учение уже началось, отозвать командиров полков — скомкать его. Потом, мне нужно посмотреть в деле новичков — их прибыло в дивизию немало. Ведь инспекция, видимо, закончится большим учением.

— Разве за неудачные действия на учениях кого-либо снимали с должности?

— Нет. А должно быть иначе. Главное ведь — умение водить войска.

— Согласен.

— В таком случае скажите, что лучше — скомкать учебу командиров или сделать лишнюю сотню дыр в мишенях?

— Михаил Сергеевич, не я определяю, что лучше, а что хуже.

— Кое-когда и вы.

— Так было при Денисе Гавриловиче. Теперь иначе.

— Как его здоровье?

— Прошел медицинскую комиссию. В отставку.

— Даже!

— Глубокий инфаркт.

— Жаль.

— Да.

— Не в обиде на него? Он ведь не отпустил вас ко мне начальником штаба.

— Нет. С ним работать было приятно.

— Может быть, попросить вас у Амбаровского? Заместителем.

— Не стоит.

— Почему?

— Я только штабник, — невесело ответил Рогов.

— Вот поэтому я и попрошу вас к себе. Вам надо побыть на строевой работе.

— Спасибо. Но ничего не выйдет.

После марша штаб дивизии расположился в густой хвойной роще. В ожидании полков, которые должны были подойти сюда с разных сторон и разыграть встречный бой,

офицеры штаба дивизии собрались в большой палатке первого отделения и, куря, обсуждали спортивные новости.

Комдив в сопровождении Рогова вошел в палатку. Вольные позы офицеров, густой дым, лениво уплывающий в черное окно, говорили о том, что штаб руководства собрался и готов учить, но не учиться сам.

Резко откинув брезентовую дверь, вошел Сердич. По смущению офицеров он догадался, что комдив застал их не такими, какими они должны быть на учении, и с досадой подумал о своем промахе.

Комдив выслушал его короткий доклад, в котором звучало нетерпение сделать офицерам резкое замечание, и, ничего не сказав, уселся за накрытый картой стол. Подумал, чем занять офицеров, и объявил результаты подъема войск по тревоге: часть танковых и артиллерийских подразделений и тылы дивизии задержались с погрузкой боеприпасов, а затем попали под авиационный удар противника. Повременив, добавил:

— Из штаба соединения «восточных» сообщили, что на вертолетах к границе выброшено прикрытие.

Это небольшое дополнение резко меняло обстановку и требовало внести существенные поправки в план учения. Не понимая, к чему комдив это делает незадолго до розыгрыша первого эпизода, Сердич в удивлении приподнял густые брови.

— Все эти данные, — подтвердил Горин, — и как можно быстрее, нужно сообщить полкам и подготовить необходимые изменения во все вводные.

— Если сочтете возможным, объясните почему? — подавляя недоумение, спросил начальник штаба.

— Учиться должны все.

— Понял вас.

Сердич круто повернулся к офицерам штаба. Комдив и Рогов направились к начальнику артиллерии дивизии.

Полковник Амирджанов, окруженный подчиненными, шумно разбирал чье-то предложение. Увидев командира дивизии, он живо взял фуражку, покрыл ею синюю от седины голову, и его широкая в плечах фигура, достигшая критической для военного человека полноты, стремительно тронулась с места.

— Что громим, Ашот Лазаревич? — спросил Горин, подсаживаясь к столу. Начальник артиллерии, сверкнув ки-

пящими молодой энергией глазами, расплылся в широкой улыбке.

— Молодежь пытается убедить меня в том, что современной артиллерии нет нужды прижиматься к пехоте. Пехота — не женщина, мы — не кавалеры! Как острят! Не хуже столетних стариков. Дорогие мои! — Ашот Лазаревич круто повернулся к офицерам. — Не приучим себя вместе с пехотой таскать каштаны из огня, о-о! Получится, как зимой сорок второго: пехота — в атаку, артиллерия — оправдываться: стрелять не можем, далеко, неэффективно...

Когда Амирджанов выпалил шквал своих замечаний, комдив спросил притихших офицеров:

— Кто хочет возразить? Нет таких? Значит, согласны. У меня два слова. Для вас главная задача на время учения — научить артиллеристов быстро понимать пехотных командиров и помогать им. Вам тоже советую почаще заходить к операторам. Кстати, к ним поступили новые данные.

Офицеры вышли из палатки. Начальник артиллерии расплылся в доброжелательно улыбке.

— Если до отъезда к Берчуку у нас есть пять минут, я могу угостить вас кофе. Рецепт — секрет семейства Амирджановых. Одна чашечка — и всю ночь двадцатипятилетний.

— Как, Илларион Иванович? — обратился Горин к Рогову.

— Не откажусь.

Полыхнула молния, грянул гром, и тут же на машину обрушился ливень. Секунду или две можно было различить частые удары тяжелых капель по тенту, но затем все слилось в один протяжный гул. Свет трех фар с трудом вдавливался в водяную завесу и тупо гас в нескольких метрах от машины. Как ни менял шофер направление луча верхней фары, в потоке воды он не всегда замечал ухабы, и машину бросало из стороны в сторону. Умолк даже неистощимый на истории Ашот Лазаревич. Горин напряженно следил за поворотами дороги и перекрестками, то и дело сверяя показания спидометра с картой. Дважды пришлось остановиться, выйти под дождь, поговорить с шофером. Лишь к рассвету Горин подъехал

к штабу Берчука, колонна которого стояла под высокими березами, ронявшими на машины редкую капель. Командир полка, казавшийся еще массивнее в плащ-накидке, стоял у штабного бронетранспортера и, глядя на карту, через люк слушал доклад начальника разведки.

Узнав машину командира дивизии, полковник снял плащ-накидку, положил ее на мокрую броню и стал ждать, когда Горин подъедет.

— Опаздываете? — спросил Горин, подавая руку.

— Немного, — ответил Берчук и прошел к Рогову и Амирджанову, чтобы поздороваться.

— Почему?

— Дождь. И получили не совсем понятные данные. Надо уточнить.

— Уточняйте.

Берчук вернулся к бронетранспортеру, в верхнем люке которого показалась лысая голова начальника штаба. Торопливо тыкая карандашом, он начал что-то доказывать командиру полка. Тот стоял все более хмурясь. Наконец не выдержал, сделал замечание, и начальник штаба умерил жестикуляцию.

Подошел Горин с Роговым и Амирджановым.

— Ну что? — спросил комдив, обращаясь к начальнику штаба.

Подполковник спрыгнул с бронетранспортера, доложил обстановку и свое мнение: с ограниченным количеством боеприпасов у артиллерии атаковать противника нецелесообразно.

Берчук попросил еще десять минут подумать.

Амирджанов, воспользовавшись заминкой командира полка, попросил разрешения сходить к своим артиллеристам, машины которых стояли в отдалении.

— Чем занимается командир артиллерийской группы? — спросил он со злой усмешкой, открыв дверку машины.

Молодой майор с начищенным академическим значком спокойно оставил машину, встал перед Амирджановым и доложил ему с невозмутимой серьезностью в желто-голубых глазах:

— Жду указаний полковника Берчука.

— Ждете?

— Жду.

— Да... — протянул Амирджанов. — Я вас считал на-

сколько красивым, настолько и умным. Любовался. А вы только красивый.

— Не понимаю вас, товарищ полковник, — вспыхнул майор.

— Это только подтверждает сказанное. Сколько раз за ночь вы разговаривали с полковником Берчуком?

— Ни разу.

— Почему?

— Он не вызывал.

— А почему вы сами к нему не сходили? — наливаясь гневом, спросил начальник артиллерии.

— У меня не было необходимости. Решить возможные задачи не представляет трудности — потребуются минуты.

— Какая самоуверенность! Не слишком ли рано! — загремел начальник артиллерии.

Ошеломленный резким выговором, майор в обиде поджал губы, но ответил твердо:

— Только уверенность, товарищ полковник. Я считаю, нет необходимости без особой нужды бегать к командиру мотострелкового полка.

— А вдруг и он задерет нос? Или не сочтет нужным кланяться мальчишке. Вы моложе Берчука на пятнадцать лет.

— В армии нет мальчишек.

— В армии люди, а не механизмы. Поэтому надо учиться работать по душам. Взаимодействие, дорогой, проблема не только техническая, но и человеческая. Я тебе от всего сердца — ты мне. Я за тебя голову положу, ты за меня. Вот тогда будет то, что нужно. А вы не сочли нужным пройтись по свежему воздуху, к командиру лучшего полка, ветерану дивизии. Да я бы около него двадцать раз побыл. Больше. Чай ему предлагали? — вдруг спросил Амирджанов.

— Какой чай? — в недоумении очнулся майор, угнетенный полученным выговором.

— Самый обыкновенный, заваренный собственными руками, по особому рецепту.

— Нет.

— А умеете такой заваривать?

— Нет.

— Через неделю жду вашего приглашения на ужин, — добрея, объявил Ашот Лазаревич. — В моем присутствии

заварите чай. Потеряете мое уважение, если он потеряет аромат.

— На ужин в любой вечер, но... к чему мне сейчас идти к Берчуку с чаем?

— Надо находить, дружок, подход, общий язык с боевыми товарищами. Повторяю: взаимодействие — проблема не только техническая, но и человеческая. Надо приучить себя помогать друг другу. Теперь поняли?

— Понял.

— Наконец-то, — развел руки Амирджанов. — Иди же, дорогой, сейчас к Берчуку и любыми способами завяжи с ним разговор. Хороший, дружеский. Между прочим, от этого во многом будет зависеть, какую оценку я вам поставлю за учение.

Майор взял планшет и направился к бронетранспортеру. Подошел, отрывисто представился. Берчук, заметив знаки, которые ему подавал издали Амирджанов, пригласил майора стать рядом.

Полковник Берчук принадлежал к той категории командиров, которые, получив приказ на наступление, не задумывались, можно или нельзя атаковать врага. По долгому опыту войны он хорошо знал, что порой бессмысленная и жестокая атака, по мнению ведущего бой, имеет большое значение в замысле старшего начальника, который не всегда может объяснить, почему батальон, полк должен ожесточенно атаковать, без видимого шанса на успех. Поэтому, получив задачу пройти к главным силам выдвигающегося противника и связать их боем, он пропустил мимо ушей мнение начальника штаба отложить атаку до подвоза боеприпасов. Ждать — значило упустить время, и помогут ли потом боеприпасы, даже избыток их, это еще неизвестно. И он начал искать кратчайшие пути, чтобы проникнуть к противнику поглубже, несмотря на то, что он уже выбросил прикрытие и при неудачном обороте дела можно попасть в окружение.

Полковника все больше клонило в полосу соседа, который несколько отстал, — можно было воспользоваться его дорогами, чтобы обойти возникшее препятствие — прикрытие противника, а потом выйти на свое направление и нанести по колоннам «восточных» неожиданный удар. Принять такое решение удерживали две опасности: противник мог обнаружить маневр и тогда дела могли обернуться плохо: обход требовал времени.

Берчук попросил начальника штаба подсчитать, сколько займет марш по новой дороге. Тот удивленно уставился на командира полка.

— Эта дорога заведет нас в полосу соседа.

— Граница с ним — не забор, — недовольно буркнул командир полка. Повременив, добавил: — Пока сосед выйдет сюда, мы уже опять будем в своей полосе.

— Едва ли.

— Посчитайте, а потом возражайте.

Подполковник достал кюрвиметр, измерил расстояние и довольно ответил:

— Не успеваем.

— На сколько?

— На полчаса.

— А без артиллерии успеем?

— Успеем... — еще более удивляясь возможному решению командира полка, ответил начальник штаба.

— Тогда составьте донесение командиру дивизии. Суть моего решения вам ясна?

— Да.

— Вам, товарищ майор, — обратился Берчук к артиллеристу, испытывая его прямым давящим взглядом, — развернуться здесь и убедить противника, что мы готовимся нанести удар с фронта.

— Без пехоты?

— Разве в двух дивизионах мало людей? Я же не требую от вас атаки.

— Хотя бы роту...

— Хорошо, роту получите, остальное своими средствами. Вместо танков используйте тягачи, — подсказал Берчук и пошел к командиру дивизии, чтобы доложить о своем решении.

Замысел Берчука на бой Горину понравился. Не будь проверяющих, он утвердил бы его сразу. В присутствии Рогова, а на учение может приехать и генерал, комдив заколебался: не встретятся полки в намеченном районе — важный эпизод проиграть не удастся.

Горин сел в машину, по радио вызвал Сердича, запросил, близко ли к намеченному району подошел Аркадьев. К его удивлению, Сердич ответил, что полк «восточных» еще не вышел на дальность связи радиостанций. Горин тут же утвердил решение Берчука и помчался на встречу с Аркадьевым.

Шофер безжалостно гнал «козлика» по проселкам. В назначенном месте Аркадьева не оказалось. И на безлюдной, набухшей от дождя дороге, уходящей в сторону противника, тоже не было видно свежих следов колес. Шофер круто повернул баранку влево и, поддав газу, бросил послушную машину на восток. Только час спустя командир дивизии увидел колонну. Она спешила, разбрасывая шмотки грязи. Горин съехал на обочину, вышел вперед. Вот головная машина колонны поравнялась с ним, и ее гибкие антенны резко склонились к капоту — открылась дверь. Но хозяин машины показался не сразу. Когда же Аркадьев направился к комдиву, лишь в его не по росту коротком шаге можно было уловить замешательство, вызванное несуразной оплошностью, допущенной им ночью. Привычно вскинув пальцы к козырьку, Аркадьев доложил, куда и зачем движется полк.

Сдерживая неприязнь, вызванную щегольски-четким докладом, Горин сухо спросил:

— Связь со штабом дивизии есть?

— Так точно, — чуть запнувшись, ответил Аркадьев.

— Давно?

— Часа... два, может, немного меньше.

Неправдивость командира части покоробила Горина — час назад все радиостанции штаба дивизии не могли связаться с полком. Его личный радист уловил позывные полка лишь сорок минут назад.

— Где посредник?

— Его ночью вызвал полковник Сердич. Больше я его не видел.

— Какая причина потери связи?

— Полк шел по лесу, а в нем, как известно, связь намного ухудшается.

Подошел начальник штаба Савченко, невысокий майор с узкой талией, туго стянутой ремнем. Лишь минувшей осенью он закончил академию, и в его поведении еще ощущалась молодая, чуть щегольская собранность и подвижность. За ним остановился Желтиков.

— Неужели в полку никто не догадался поднять антенну на высокую сосну? И вы, майор, уже забыли об этом несложном приеме?

Почти юное лицо Савченко покрылось густым румянцем.

— Нет, не забыл. Но мы всю ночь ехали, не останавливаясь.

— Почему же так сильно опоздали с выходом на рубеж встречи с противником?

Майор заколебался; сознаться в том, что произошло ночью, было стыдно. И командир полка мог назвать совсем другую причину. Подводить его неудобно — на десять лет старше, на два звания выше... Но посмотрел в глаза командира дивизии и решил, что тот уже все знает и бесполезно выгораживать своего командира.

— В темноте мы сбились с дороги, застряли... Дождь.

Невероятное происшествие! В полку пять человек с академическим образованием, и никто не заметил нужного поворота! От удивления брови командира дивизии приподнялись, и молодой офицер весь поблек, будто получил очень сильное порицание. Горину стало жаль его, и он воздержался от замечаний: майор, видно, и так взял на себя много чужой вины.

— Какую задачу получил полк? — обратился комдив к Аркадьеву.

— Выйти в ранее назначенный район и разгромить передовой отряд противника, — ответил тот подчеркнуто точно, стараясь доказать Горину, что ночное происшествие — всего лишь случайность, по которой нельзя судить о его, Аркадьева, возможностях.

— Выполняйте задачу, — сказал комдив, помедлив, словно ему было неприятно, что у подчиненного обнаружилась еще одна нехорошая сторона характера — пристрастие к неумной картинности. Проводив долгим взглядом Аркадьева, Горин сел в машину. Задумался. Да, изъяны в командире полка оказались серьезнее, чем он предполагал. Надо проверить, нет ли этих изъянов и в умении воевать.

Комдив включил радиостанцию, связался с разыгрывающим центром. Сердич доложил о действиях полков и отданных распоряжениях.

— Приступайте к розыгрышу боя. Строго по решениям играющих. Или немного помочь Аркадьеву? У него вправо не выслана разведка.

— Кое-что можно дать через соседа и авиаразведку.

— Хорошо.

Данные об обстановке Аркадьеву начали поступать подобно надвигающейся грозе. Раскатом отдаленного грома

донеслась орудийная стрельба. Правее и ближе послышались автоматные очереди и несколько танковых выстрелов. Аркадьева удивила правдоподобность услышанных звуков, поскольку он хорошо знал, что на командно-штабное учение не выводились подразделения для обозначения положения сторон. Тут же пришел запрос из штаба дивизии: положение полка, где противник? О положении полка Аркадьев доложил, о противнике данных у него почти не было, и за это, подумал он, ему поставят второй минус.

Не успел командир полка пережить неудачу, его затребовал сосед. Аркадьев приложил к уху один наушник и стал пересказывать начальнику штаба данные: замечена большая колонна противника. Когда пошли данные от авиации, Аркадьев протянул наушники начальнику штаба — это твое дело.

Майор Савченко пристроился на подножке машины и, быстро меняя цвета карандашей, стал наносить данные на карту. Не успел он сопоставить их с сообщением соседа, как его позвали сразу к двум радиостанциям: вызывал офицер связи, высланный в прикрытие, и командир разведывательного дозора. Закрыв планшет, начальник штаба исчез. Вернулся он минут через пять. Командиру полка они показались часом. За ним издали наблюдал командир дивизии, а он в сущности бездействовал. Едва Аркадьев стал слушать полученные данные, его снова вызвал штаб дивизии. Посыпались новые данные. Чтобы они получше легли на карте, он снова передал наушники майору. Новые красные, синие, черные стрелы и круги стали ложиться на карту. Быстро и красиво. Но Аркадьеву казалось, что начальник штаба работает не так, мельчит, допытывается ненужных деталей и тем тянет время. Не выдержав, он к недоумению майора потянул планшет к себе. Только он присел на бампер машины и прикинул расстояние до колонны, появившейся в полосе соседа, подъехал посредник. Командир дивизии подозвал его к себе. Аркадьев снова склонился над картой.

В это время воздух разодрал гул приближающихся самолетов. Его сменили разрывы бомб и частая пушечная стрельба. Аркадьев невольно пригнулся. Опомнившись, посмотрел в небо. Оно было чистым. Звуки грохотали из громкоговорителя, установленного на машине посредника. И хотя нереальность грохотов Аркадьеву стала совершен-

то очевидной, порвавшиеся мысли никак не сращивались, и он не отдал нужного распоряжения — побыстрее убрать с дороги колонну. Об этом напомнил ему подбежавший начальник штаба. Подсказка задела командира полка. Он метнул на майора недовольный взгляд, снова уставился в карту, но через минуту все же направился к комдиву за разрешением сменить место.

— Действуйте по своему усмотрению, — ответил Горин, стараясь не выдать своего недовольства тем, что в опасно сгущающейся обстановке командир полка действует слишком медленно.

На новом месте Горин и посредник прилегли под деревом, недалеко от машины Аркадьева, и невольно услышали его разговор с начальником штаба.

— По моему мнению, товарищ полковник, — подавляя обиду, отвечал майор, — колонны противника справа уже вошли в нашу полосу, и нам нужно ускорить развертывание полка.

— Ваше предположение — гадание цыганки, — оборвал Аркадьев. — Потрудитесь побыстрее добыть нужные данные.

— Больше мы едва ли получим: запоздали вправо выслать разведку.

— Изворачивайтесь, если запоздали, — сказал Аркадьев и намекнул, что можно использовать прямые и окольные пути, чтобы добыть нужные данные у посредника или в штабе дивизии.

Савченко промолчал: добывать данные через однокашника, который сейчас работал в штабе руководства, он не хотел.

Время шло, данных, считал Горин, было достаточно, чтобы принять нужное решение, а командир полка все тянул. Комдив подошел к Аркадьеву, попытался поторопить и тем помочь ему.

— Что надумали? — спросил он.

— Собрать дополнительные данные и развернуть полк, — ответил Аркадьев, принимая уверенную стойку.

— Вас не беспокоит колонна противника, неожиданно появившаяся у соседа?

— Не особенно. Ею должен заняться сосед. Я лишь прикроюсь. Время у меня есть.

— А вдруг сосед отстал?

— Согласно графику...

— Вы должны были быть здесь давным-давно, а как получилось? — перебил Горин Аркадьева, недовольный упрямством, с которым тот увертывался от признания своих промахов. — Поспешите. И больше занимайтесь управлением сами.

Слова комдива Аркадьев воспринял как первый открытый упрек, подтянулся и, когда его позвали к радиостанции, повернулся круто, обиженно. Горин пошел за начальником штаба, который, не зная, следует ли ему после замечания комдива сидеть рядом с командиром полка, направился к своей машине.

Горину нравился молодой, по-юношески легкий майор, прибывший в дивизию из академии минувшей осенью... Он торопился помочь командиру полка, но, встречая его недовольство, кажется, начинал сникать.

Сев в машину, Савченко глубоко вздохнул, о чем-то подумал и, выдернув из планшетки карандаш, начал быстро набрасывать донесение. Затем закодировал и передал радисту. Когда оно было передано, комдив обратился к нему:

— Что сообщили наверх?

Майор взял красный карандаш и, легко очерчивая им районы, стал заученно четко, как на экзамене, докладывать выводы из создавшейся обстановки и свое мнение.

— Его тоже передали?

— Да.

— Но вашего мнения не знает командир полка. Возможно, он не согласится?

— Я оговорил это. — И с обидой: — Командир полка все равно меня не станет слушать.

Горин ничего не ответил майору, вернулся к Аркадьеву, который, выйдя из машины, громко хлопнул дверцей. К нему только что пришло донесение: подразделение, которое должно было прикрыть выход полка на назначенный рубеж, под ударом противника с фланга и тыла дрогнуло и отошло к югу. Это открыло «западным» путь к полку, а полк двигался еще в колоннах и к отражению удара не был готов. «Нужно решение, — лихорадочно думал Аркадьев, — иначе разнос. Но какое? Атаковать, как требует устав и как задумано по плану марша, или перейти к обороне? Но за оборону можно прослыть нерешительным».

Не дождавшись, когда в голове сложится что-то определенное, командир полка направился к комдиву.

— Приняли решение? — осведомился Горин.

— Д-да, — подтвердил Аркадьев, склонившись к активным действиям в самый последний момент, за них меньше упрекают.

— Донесли о нем командиру или штабу дивизии?

— Я решил доложить вам лично.

— Но в действительности я бы мог здесь и не быть.

— Вы здесь...

— Ну хорошо.

Выпрямившись, Аркадьев уверенно доложил выводы об обстановке и свое решение. Горина покоробила размашистость намерений командира полка, пренебрежение к тому, что творилось на фронте; прикрытие дрогнуло, возможно, на глазах авангарда, который еще не испытал опасностей боя, не узнал силу оружия, удар противника может смять его, и что потом будет со всем полком, лихо выдвигающимся навстречу опасности, трудно предугадать.

К Аркадьеву подошел майор Савченко и подал радиограмму. Когда командир полка прочитал: «Действовать согласно вашему решению», от недоумения у него приподнялся козырек фуражки — своего решения штабу он не передавал.

В предчувствии крутого разговора майор Савченко насторожившимися ноздрями втянул воздух и, с трудом одолевая противное ему самому смятение, ответил:

— Я донес обстановку в штаб дивизии и изложил свое мнение.

— Какое?! — наливаясь недовольством, спросил Аркадьев.

Майор доложил.

— Кто командует полком?

— Вы, товарищ полковник.

— Так почему же...

Горин остановил готовое уже вырваться возмущение Аркадьева:

— Он сделал то, что обязан был сделать. Так его учили в академии. Его мнение приняло силу закона — пришел приказ, и его следует немедленно выполнять. Отдавайте распоряжения.

Из полка Горин уезжал с ощущением, будто в судне, на котором делала переход дивизия, образовалась опасная

брешь. Залатать ее, возможно, удастся. Но, чтобы беда не повторилась, надо быстрее и крепче браться за Аркадьева. Нехорошо на душе было и от того, что молодой майор оставался с командиром полка без защиты. Аркадьев, конечно, не забудет ему инициативу, благодаря которой все его, командира полка, действия оказались по меньшей мере опрометчивыми. Предупредить Аркадьева прямо было опасно — это еще больше бы уязвило его самолюбие и ухудшило отношение к начальнику штаба, а от этого страдал бы полк. «Пусть майор, — подумал комдив, подъезжая к штабу дивизии, — испытает лихо, посопротивляется ему. Выстоит, не сломится — будет командиром. Только не прозевать трудный момент, чтобы не потерял веру в справедливость».

По расчетам Сердича, удар Берчука по полку Аркадьева оказался тяжелым. Спас его отход на опушку леса и ввод в бой командиром дивизии раньше времени танкового резерва.

Горин и Сердич заканчивали обсуждение последующего хода учения, когда в сопровождении Знобина в автобус вошел генерал Амбаровский.

Вид его был недовольным. Быть таким, считал он, есть веские основания. По стрельбе полки дали неважный результат, к тому же чуть не случилось тяжелое ЧП. Сумеет ли дивизия за оставшееся до инспекции время наверстать необходимое, генерал не был уверен и решил предъявить командирам полков и кое-кому еще самые строгие требования. Ему не хотелось свой первый блин в новой должности, назначение на которую, по его предположениям, должно было вот-вот состояться, преподносить инспекции комом.

Выслушав доклад Горина, он хмуро поздоровался и сел за откидной стол.

— Где мой штабник? — спросил он, снимая фуражку.

— Пишет замечания по учению.

— Позовите.

Сердич ушел.

— Ну как командуют командиры?

— По-разному.

— А их подчиненные стреляют одинаково неважно, особенно твоего хваленого Берчука. Физподготовка тоже отстает... И общий порядок желает лучшего. Считаю, надо поторопиться с назначением тебе первого заместителя.

— Если задержка за моим мнением...

— Нам хотят прислать какого-то службиста из Москвы. Он, наверное, забыл уже, как заряжается автомат.

— Если из Генерального штаба — это хорошее переливание крови. Оно практиковалось в русской армии давно.

— Может, и хорошо, но нам своих нужно продвигать, чтоб люди тянулись, иначе мхом обрастут. Каково твое мнение об Аркадьеве?

Горин долго не мог разжать сами собой стиснувшиеся губы — так неожиданен и плох был выбор Амбаровского.

— Что молчишь? Не нравится?

— Больше. Есть причины, по которым ему не желательно давать повышение.

— Какие? — Черные глаза генерала насторожились.

Горину не хотелось называть истинные доводы, поскольку они нехорошо представляли Аркадьева командиру соединения, и он высказал те, что были помягче:

— Он недавно в дивизии и еще не показал ничего хорошего...

— Служил в другой, и не так плохо.

— Он растерял знания...

— Но приобрел опыт; три года заместитель, пять лет командовал полком, не говоря уже о работе в разных управлениях и отделах. Возражения нахожу недостаточно убедительными. — И добрее: — Да и кто из нас в повседневной суматохе может удержать в голове все, чему учили в академии? Сам же говорил на лекции: все меняется, движется галопом... Станет замом, получит побольше свободного времени, подтянется.

Михаил Сергеевич понял, что Амбаровский не склонен отступать от своего намерения продвинуть по службе однокашника, и решил назвать истинные причины:

— Хотя Геннадий Васильевич полками командует давно, стиль его работы требует серьезной правки.

— Именно?

— Жестко требуя с других, он обходит себя.

— К тому же щеголяет единовластием, — поспешил добавить Знобин.

— А вам хочется, чтобы он командовал с оглядкой на замполита? — устремил на Знобина недовольный взгляд генерал.

— Нет, — не отводя глаз, ответил Павел Самойлович. — Командовать должен один, а работать с людьми.

— А есть ли граница между командованием и работой командира?

— Границы нет, разница — есть.

— Где нет границы, там появляется путаница.

Увидев, что и после этих слов оба полковника намерены отстаивать свое мнение, Амбаровский смягчил тон:

— Аркадьев, что же, по-вашему, не понимает, как должен вести себя командир? Растолкуйте. Способен же он понять, где надо давать людям выговориться, высказать свое мнение?

Вместо ответа Горин привел последний довод, хотя высказывать его, кажется, было рано.

— Я не могу дать положительную характеристику человеку, который поступает непорядочно по отношению к своему сослуживцу.

— Яснее... — Губы генерала нервно дернулись. Ему сказали «нет», когда он еще не отказался от своего «да».

— Аркадьев пытается стать непрошеным другом жены уехавшего в длительную командировку полковника Степанова.

Довод был столь веский, что Амбаровскому пришлось отказаться от натиска.

— Если так, то дурак. — Успокаивая себя, генерал легонько ударил рукой по столу. И вдруг повернулся к Горину: — А не сводишь ли ты давние мальчишеские счеты? Говорят, и ты когда-то был неравнодушен к Ларисе Константиновне...

На обескровленном бессонной ночью лице Горина выступил бледно-лиловый румянец. «Кто мог об этом сказать Амбаровскому? Сама Лариса Константиновна? Маловероятно. Проговорилась мужу, а тот генералу? Но это же непорядочно...»

— У Аркадьева, мне кажется, еще не было повода считать мое отношение к нему несправедливым.

Слишком долго, как показалось генералу, молчал комдив, чтобы можно было ему поверить.

— Ладно, поживем — разберемся. А если не Аркадьев, кого бы ты хотел к себе в замы? Не Берчука ли?

— Нет. Если не жалко, полковника Рогова.

— Рогова?! — Генерал удивленно поднял голову с глубокими залысинами, которые как две стрелы отсекали черный клок волос над высоким гладким лбом. — Он, наверное, забыл, когда командовал батальоном.

— Командование людьми на фронте не забывается...
— Он штабист, и его место в штабе.
— Побыв на командной должности, он может быть хорошим начальником штаба высшего соединения.
— Ладно, подумаю, — прервал разговор Амбаровский и повернул недовольное лицо к открывшейся двери.
Вошли Сердич и Рогов.
— Ну, докладывайте о всех ваших новшествах, — кинув взгляд на Сердича, потребовал генерал.
Сердич подумал, что Амбаровского, раз он прибыл сюда, пока интересует новое в организации учения, и стал докладывать об этом. Амбаровский остановил его:
— Здесь я сам разберусь, что у вас хорошо, а что надумано. Вы дайте мне оценку: почему полки сдали в стрельбе и в физической подготовке?
— Я не знаю, какие вы предъявили требования.
— Обычные.
— Учебный год еще не окончился, и некоторые упражнения полки могли отстрелять хуже обычного.
— А чем вы объясните низкую стрельбу в полку Берчука?
— Если можно, скажите мне оценку, которую получил полк.
Корректность и уверенность, с которой держался начальник штаба дивизии и, кажется, не хотел признавать, что надуманными помехами помог полку скатиться чуть ли не до двойки, начала раздражать Амбаровского.
— В сущности, плохая. За тройку зацепился десятком пробоин.
— Чтобы дать верный ответ, разрешите мне проанализировать итоги стрельбы и доложить свой вывод несколько позже?
— Здесь не Генеральный штаб. Ответы надо давать немедленно, — упрекнул генерал, стрельнув в Сердича строгим взглядом. — Думаю, не по-военному работаете, разбрасываете силы: только взялись за морально-психологические вожжи и уже шумите о научной организации службы. — Усмехнувшись, генерал добавил: — И сокращение уже придумали: НОС. Как бы не остались с носом. На главное — контроль за ходом боевой подготовки у вас не хватило сил.
За Сердича вступился Горин:
— Вина в этом моя. О научной организации службы

мы сделали лишь предложение. Если вас очень беспокоит результат... то со временем, когда люди привыкнут к помехам и опасности, он улучшится. Но для войны и такой надежнее.

— Этими самыми помехами, говорю еще раз, вы только создали условия для чрезвычайных происшествий, за которые спускают вниз по лестнице, и правильно делают. Вам доложили о ЧП?

— Нет.

— Двое ранены гранатой. Не бледнейте, живы.

— На фронте, товарищ генерал, такие раны считали царапинами, сами знаете, — осторожно возразил Знобин, чтобы не сердить Амбаровского. — Потерпевшие тоже. Об этом я хочу написать в газету.

— Вы понимаете, что говорите?

— Конечно.

— Тогда вы просто подыскиваете оправдание проявленной безответственности! Всего лишь случайность избавила вас от тяжелейшего происшествия — гибели людей. Об этом я вам еще скажу на разборе. Вы свободны.

Когда генерал стал читать замечания, написанные об учении Роговым, вслед за Знобиным и Сердичем ушел и Горин.

— Не задобрили они тебя здесь? — отодвинув в сторону тетрадь Рогова, спросил Амбаровский. — Расписал в стихах и красках.

— Всегда старался быть объективным, — ответил Рогов, догадываясь, что Горин, видимо, говорил о нем с генералом.

— В смысле добрым. Только на военной службе доброта не всегда добро. Добро то, что обеспечивает высокую боевую готовность. Запомни это...

14

Учение заканчивалось в жаркий полдень. Полки еще шли вперед, громили «противника», штабы писали последние донесения, а Горин с посредниками уже выехал на шоссе, ведущее к городу. После тряски по проселочной дороге наступила относительная тишина, и командир дивизии попытался теперь вникнуть в суть замечаний Амбаровского, которые тот не раз и порой гневно бросал в ходе

учения. Даже Аркадьеву закатил одно, звонкое, но, как показалось Горину, в сущности, ободрительное. Выходит, не поверил в грехи и промахи своего однокашника. «Как же оценивать действия Аркадьева на учении?» — вспомнив разговор с генералом, задумался Горин. Но не смыкавшиеся в течение двух суток веки склеились, и он не смог их разодрать. Заметив это, шофер сбавил ход, голова полковника качнулась раз, другой и ткнулась небритым подбородком в грудь.

Пока штабы возвращались, чистились и обедали, командир дивизии готовил разбор. Он заслушал посредников, внес поправки, определил объем замечаний. Офицеры тут же засели за работу, а сам он с Сердичем занялся схемами и планом разбора.

Когда в зале все было развешано и проверено, комдив стал просматривать схемы, Сердич вдохнул воздух, чтобы попросить разрешения уйти в клуб на репетицию. И не решился. Ему показалось, упомяни он Ларису Константиновну, и Горин догадается о его неспокойном желании поскорее увидеть ее и побыть с ней. В глазах появится упрек: она замужем; потом — менять разбор на встречу... не в правилах военных. «Но он же сам настаивал на участии в концерте», — попытался убедить себя Сердич. Когда комдив оторвался от последней схемы, Георгий Иванович все же подтолкнул себя: «Тебя ждут и неудобно не держать данного слова».

— Если сразу после разбора я вам не буду нужен, разрешите мне уйти? На репетицию.

— Пожалуйста, — чуть задержав взгляд на лице Сердича, ответил комдив и прошел к столу. Выпил стакан крепкого кофе, сел за стол, чтобы просмотреть записи посредников и сделать в своем плане необходимые пометки.

Разбор командир дивизии начал необычно — включил магнитофон и воспроизвел наиболее характерные моменты в работе командиров. Офицеры услышали спокойную деловитость Берчука, стремительность молодого командира танкового резерва и хмуро-значительные реплики и указания Аркадьева.

— Итак, три командира — три стиля работы, — начал Горин. — Если у первых двух много сходного, хорошего, то в штабе полковника Аркадьева, как все убедились, метод работы вызывает огорчение. Если бы отношение командира к штабу было иное, уверен, многих ошибок, вызван-

ных тем, что в какую-то минуту его мозг не выдал нужных данных или не смог оценить их значение, можно было бы избежать — выручили бы подчиненные.

Для подтверждения своей мысли Горин рассказал эпизод, когда в основу задачи полка Аркадьева легло решение майора Савченко, и подвел первый итог:

— Спроси командир полка вовремя мнение своего начальника штаба, поправь по нему свое решение, и не произошла бы неприятная ошибка.

Сделав паузу, Горин взял указку и пошел вдоль развешанных схем. Сжатая оценка обстановки, сути решений, разбор их достоинств, ошибок, причин, следствий. Вначале неважно выглядели двое — начальник штаба полковника Берчука и Аркадьев. Больше замечаний выпало на долю начальника штаба, и Аркадьеву было не столь горько слушать о своих ошибках. Но вот в действиях штаба полка Берчука произошли заметные улучшения, и Аркадьев оказался в одиночестве. Всем бросилась в глаза его капризная неумелость. Чтобы убедить всех в объективности своих замечаний, комдив привел нелестные слова генерала об Аркадьеве.

Амбаровский потемнел — его словами высекли того, кого в своем разборе он собирался несколько обелить, ибо считал: хотя Аркадьев и допустил на учении немало ошибок, дела в его полку нисколько не хуже, чем у других, и потому нападать на него круто — вредить делу. И тут же скользнула догадка: не костит ли комдив Аркадьева за ЧП в полку? Но, во-первых, оно не имеет отношения к учению, а во-вторых, кто от них застрахован? Вернее же всего, Горин бьет его своими и моими кулаками, чтобы не назначили к нему в заместители. Не слишком ли?!

Поостыв, генерал задумался о том, как ему поправить впечатление об Аркадьеве. Опровергнуть доводы Горина в своем разборе? Нет, нельзя: он все же командир дивизии, а не штабной писарь. Потом об Аркадьеве он, Амбаровский, действительно, сказал несколько наперченных словечек. Аркадьев-то понял что к чему и не обиделся, а вот Горин не захотел понять. Одно другого не лучше. Но сейчас ведь не скажешь: меня неправильно поняли. Горин привел слова точно, и смысл их офицеры могли увидеть только один — воюешь, Аркадьев, плохо, а ведь смекалистый был офицер.

Горин кончил, объявили перерыв на двадцать минут.

Генерал ушел в отведенный для него кабинет и еще раз пробежал доклад, написанный ему офицерами штаба. Умелый, местами острый, он все же, как казалось генералу, был недостаточно внушительным, чтобы убедить офицеров дивизии в серьезности вскрытых недостатков и заставить их в оставшееся до инспекции время забыть все, кроме одного — надо как можно лучше отчитаться перед инспекцией, перед государством. Амбаровский стал ходить по кабинету, подыскивая тон, который бы придал весомость разбору. Но тон, как казалось ему, не спасал положения, и для большей убедительности генерал решил прокомментировать ряд мест.

Сделав пометки в тексте, он вышел из кабинета и поднялся на трибуну.

Окинув строгим взглядом зал, генерал начал свой разбор. Первые замечания прозвучали в меру спокойно и убедительно. Когда же генерал перешел к анализу результатов стрельбы, в зал полетел шквал резких, как разрывы бризантных гранат, обвинений. Особенно досталось Сердичу и Берчуку.

Сердич от стыда согнулся, побагровел, но, почувствовав на своей руке пальцы комдива, выпрямился и, будто окаменев, слушал разбор непроницаемо спокойно.

Мощная фигура Берчука долго держалась прямо. Лишь когда Амбаровский в третий раз грозно прошелся по его полку, в нем что-то согнулось или падломилось, и плечи его обвисли. Знобин повернулся к нему, заглянул в померкшие глаза, шепнул: «Алексей Васильевич, бывало хуже...» Берчук не отозвался. Разбор шел к концу. Зал отрешенно молчал, будто забронировался от снарядов. Теперь они рикошетировали и рвались где-то в высоте, осыпая людей потерявшими убойность осколками. Генерал, почувствовав неладное в настроении людей, платком обмахнул заблестевшее от пота гладкое лицо, отхлебнул из стакана чаю и перешел к последней странице — заключению. Вот перевернута и она, вся кипа бумаги недовольно отодвинута в сторону.

— Мои помогатели нашли у вас немало недостатков. Серьезных и опасных. Ваша дивизия всегда была хорошей, и я надеюсь, вы найдете в себе силы исправить недостатки. Вот так. На этом можно кончить.

Зал молчал. Горин уперся ладопями в колени, нагнулся и, когда пересилил сдавившую сердце обиду, встал.

Вяло подошел к сцене, попросил разрешения сделать объявление.

— Да, да, пожалуйста, — ответил Амбаровский и сгреб листы разбора.

Командир дивизии поднялся на трибуну, чуть склонился, помолчал, словно обдумывал длинное выступление, а сказал одну фразу:

— Всем участникам учения в воскресенье и понедельник — отдых. — Сказал спокойно, с чуть-чуть пробившейся горечью. Затем подошел к генералу и спросил устало: — Вы когда уезжаете?

— Собственно, сейчас. Заеду только проститься с Ларисой Константиновной. Обещал быть.

— Разрешите в таком случае пожелать спокойного пути.

— Голову не вешать! — открыл в улыбке зубы Амбаровский.

— Попробуем. Если разрешите?..

— Ну.

— Берчука так не следовало бы... Если кто и виновен в неудаче полка, то только я и Сердич.

— Выдержит, такая глыба. А фантазии Сердича попридержи. На время, конечно.

Горин ничего не ответил.

Черная «Волга» тронулась, обдав Горина волной дыма. За ней шустро помчался зеленый «козлик» Аркадьева.

Когда машины свернули к Дому офицеров, «Волгу» чуть занесло. Она остановилась, обогнав шедшую к подъезду пару. Генерал вышел из машины. Черные глаза его с любопытством уставились на Сердича, с лица которого сошла мягкая улыбка. «Когда успел? — подумал Амбаровский. — И сколько холодной независимости. Генштабист знает себе цену. Что же, неплохо, если работа пойдет».

— Я к вам, Лариса Константиновна, а вы, наверное, в клуб?

— У нас репетиция.

— А... Если пригласите на концерт, с удовольствием приеду. А сейчас спешу домой.

Лариса Константиновна подала руку, он пожал ее и еще раз глазами пробежал по Сердичу — кажется, этот красавец не без причин поспешил на репетицию.

Когда Горин открыл дверь кабинета, в нем уже стоял Знобин, взъерошенный, злой. Глубоко вздохнув, чтобы немного успокоить себя, он проговорил:

— Знаю вас давно... Но сохранить невозмутимое спокойствие после всего только что услышанного... Не предполагал этого в вас.

В словах Павла Самойловича Горин услышал неодобрение тому, что он вежливо пожелал Амбаровскому спокойного пути. Возражая больше тоном, Горин ответил:

— Командир при всех обстоятельствах, тем более на виду у подчиненных, должен владеть собой. В трудную минуту это его последний и самый сильный резерв.

— А не учим ли мы такой выдержанностью равнодушию к нарушениям наших святых норм отношений между людьми?

— Думаю, нет. Свои допустимые возражения я высказал, он их выслушал.

— Выскажу и я. В политдонесении, копию которого пошлю в политуправление округа, я напишу о том, что дают проверки наскоком и разборы с пристрастием для людей, работавших не за страх, а за совесть.

Горин сказал, чтобы Знобин это сделал без ненужной спешки, но Знобин понял его иначе и продолжил с еще большей горячностью:

— Не подумайте, что я недоволен тройкой за былые заслуги! Нет. Пусть была бы двойка, но вдумчивая и обстоятельная.

— Надеюсь, ваше донесение не будет написано в таком тоне?

— Постараюсь.

Быстро вошел Амирджанов. Он с трудом сдерживал руки, которые от волнения метались во все стороны.

— С Алексеем Васильевичем плохо.

— Где он? — вскочил Горин.

— У меня в кабинете.

Горин вошел первым. Берчук лежал на диване, грудь его колебалась неровно, с перебоями.

— Лежите. Врача вызвали?

— Не нужно. Просто устал. — Командир полка опустил на пол ноги, потер мокрый лоб. — Уже прошло.

Полковники взяли стулья и подсели к нему. Помолчали.

— Да, разгром оказался неожиданным и тяжелым. Как

вы смотрите, если завтра выехать в полки? — обратился ко всем Горин. — Надо не дать людям опустить головы.

— А может, устроить импровизированный праздник: спортивные соревнования, футбол, а вечером концерт? — предложил Знобин.

— Дополнение принимается. Я поеду к вам, Алексей Васильевич. Вашему полку досталось больше всех. Ашот Лазаревич — к своим артиллеристам. Здесь останетесь вы, Павел Самойлович, и Георгий Иванович.

15

Поток солнечного света ворвался через окно, отразился от стены и упал на Горина. Он открыл глаза, но налитые тяжестью веки снова закрылись — усталость не прошла, хотелось спать. Подремав еще минут пять, осторожно откинул зеленое одеяло из мягкой верблюжьей шерсти и спустил ноги на коврик. В это время коротко прозвенел будильник.

Проснулась Мила. Жалость и сожаление дрогнули на ее ресницах. Но возвращаться к вечернему разговору она не хотела: Михаил все равно поедет куда ему нужно, будь он разбитый, больной — лишь бы передвигались ноги. Отговаривать его было все равно, что упрекать за службу, без которой он не мыслил своей жизни. Именно таким она его и любила. А вчера посоветовала отложить поездку лишь потому, что видела, насколько он устал за время учения.

У машины Мила поцеловала мужа, он благодарно прикрыл глаза ресницами и, сев в машину, видимо, тут же задумался о том, что будет делать в полку — даже не оглянулся, не поднял руку.

Мила вернулась в квартиру. У нее уже пропало желание снова лечь в постель — ее беспокоила мысль о дочери. Галя вчера вернулась домой далеко за полночь. Мила услышала, как в ванной она стукнула тазом. Потом уловила осторожные шаги ее босых ног. И все надолго смолкло — видимо, Галя стояла у окна, думала. О чем? О будущем или о случившемся?

Тихо вошла в комнату дочери. Галя, свернувшись в клубочек, лежала лицом к спинке дивана — даже не разложила его. В ее позе было что-то жалкое, смятое. Склонилась над дочерью, чутко прислушалась к ее неровному

дыханию — спит или не спит? «Спит», — заключила, когда дочь, сделав глубокий вдох, перевернулась на спину. Мать увидела ее бледно-розовые, чуть изломанные сухой корочкой губы, первые тонкие морщинки, протянувшиеся от ноздрей к углам рта. «Их не было, — отметила Мила. — Не слишком ли много их собирается с годами? Не все мужья понимают их нелегкую цену. Поймет ли Вадим? Много ли у него терпения, будет ли ждать, когда она уедет в Москву?»

Галя вздрогнула, черные ресницы распахнулись, и тут же она потянула на себя одеяло, впервые застыдившись матери. Ошеломленная недобрым предположением, Мила затаила дыхание.

— Что случилось? — спросила Галя сдавленным голосом.

— Не знаю...

Мать встала, шатким шагом подошла к радиоприемнику и, не понимая зачем, включила его. Голос диктора, совсем негромкий и добрый, оглушил ее, и она тут же щелкнула выключателем.

— Почему же ты плачешь? — пытаясь освободиться от душной скованности, проговорила Галя.

— Так...

— Где папа?

— Уехал.

— Вы поссорились?

— Нет. Он уехал в полк Берчука.

Паутинка надежды, что причина слез мамы не она, дочь, а что-то другое, порвалась. Как и в тот момент, когда открыла глаза, Галя опять почувствовала себя обнаженной, и мать, показалось ей, на ее губах и лице увидела следы от потных пальцев и поцелуй пьяного рта Вадима. Объяснить ей, как-то оправдаться, почему она пошла к нему, да еще ночью, в общежитие, Галя не решилась. Когда же представила, как на нее посмотрит отец, узнав, где она была, от острого стыда ей стало зябко. Пытаясь найти помощь и защиту у матери, Галя вскочила на ноги и обняла ее за полные плечи. Но мать вздрогнула, сжалась и даже вроде отстранилась от нее, будто она была холодная или нечистая.

Нежелание матери понять и помочь ей вызвало у Гали обиду и упрямство.

— Тогда я все объясню папе, он поймет меня.

— Думаю, этим разговором ты не доставишь радости Михаилу Сергеевичу!

Озадаченная, Галя села на постель: в первый раз она слышала, чтобы мама называла папу по имени и отчеству. Как чужого. Вероятно, для нее. И уверенность, что папа захочет понять ее, опрометчивое желание избавить Вадима от неприятности, когда ему станет известно, в каком состоянии она убежала из его комнаты, начала сменяться стыдом и растерянностью. Как она скажет об этом, если мама, мама, отстранилась от нее!

— Что же мне делать? — прошептала Галя.

Мила не знала, как объяснить дочери, насколько своим поступком она приблизила беду к семье. Сможет ли Михаил понять и простить ошибку Гали: сейчас ему очень трудно, а тут еще Лариса Константиновна... Не потянет ли его к ней, если в семье начался разлад. Собравшись немного с силами, мать прошептала:

— Михаил Сергеевич — отец только...

— Что?! — в испуге спросила Галя, почувствовав в недосказанных словах матери что-то страшное для себя.

Мила спохватилась. Не сказать дочери правду теперь было трудно, но без согласия Михаила она не решалась. Никто не знал об их прошлом. И даже дочери, когда ей исполнилось восемнадцать, он не захотел его раскрывать. Но предчувствие возможной перемены Михаила к дочери заставило Милу решиться сказать правду, чтобы к этой перемене Галя могла немного подготовиться.

— Да, папа — отец только Тимура!

— Нет! — вскочила Галя и бросилась к матери. — Нет! Скажи, мама, что это неправда! Неправда! — И хотя Галя отчетливо понимала, что неправда не могла быть сказана с такой нестерпимой болью, она тормошила оглушенную признанием мать и требовала сказать ей все, все. И когда правда осталась правдой, дочь в растерянности спросила:

— Что же мне делать?

Мать ничего не ответила.

— Я не хочу знать другого отца, того, кто за двадцать лет ни разу не напомнил о себе!

— Твой отец погиб на войне, Галя. Он друг Михаила Сергеевича.

Галя побледнела, лицо ее вытянулось, глаза в ужасе округлились и вот-вот были готовы залиться слезами. Она

казалась себе человеком, оскорбившим людей, которые за ее жизнь отдали свои жизни, за ее молодость — свою молодость. Нервы ее не выдержали, и крупные слезы покатились по щекам. Они размягчили ком горя, стеснявший грудь матери. К Миле вернулась надежда, что, несмотря на большие перемены в характере дочери, в ней все же сохранилась любовь к добру. Она подошла к Гале, припала губами к ее темени, потом обняла за худенькие плечи и присела рядом. Так, согревая друг друга, они долго сидели молча.

Немного успокоившись, мать спросила:

— Ваше неладное... можно исправить?

— Ничего неладного не случилось. Но выходить за него замуж я не хочу! — объявила Галя и встала. — Он мне противен.

16

Соревнования начинались вяло, буднично. На стадион люди шли неохотно, а кое-кто и под командой разгневанных старшин. Первые забеги и прыжки прошли при глухом молчании трибун. Лишь артиллеристы, оккупировавшие все места у финиша, шумно аплодировали своим победителям и посмеивались над пехотой-матушкой, которой сам господь-бог велел бегать быстрее.

Знобин перешагнул через барьер, отделявший трибуны от поля, подошел к спортсменам.

— Ну что, терпим поражение? — обратился он к солдатам с тем острым озабоченным взглядом, который лишь немного смягчала широкая улыбка.

— Да, — уныло ответил крепыш с погонами ефрейтора.

— А почему?

Солдаты молчали.

— Так кто же смелый, кто назовет причину поражений?

— Не до соревнований, товарищ полковник, — ответил за всех тот же ефрейтор.

— Ну, а еще прямее? Или вежливость не позволяет? — Знобин заглянул стоящим поблизости солдатам в глаза, и те поняли, о какой вежливости намекнул замполит: молодые, а трусите. — Тогда я скажу, что вы думаете: на

кой черт начальство устроило эти самые соревнования, если и без них тошно. Так?

— Примерно.

— Не бойтесь говорить правду — на нее не обижусь. А чтобы вы правильно поняли, какие причины заставили начальство, в том числе и меня, устроить эти соревнования, а вечером концерт, расскажу фронтовую быль.

В год, когда вас и на свете не было, а точнее — летом сорок второго, противник начал свое новое большое наступление и побил нас под Харьковом, Курском, Ростовом. Главная причина, пишут иные историки, — проморгали Ставка и Генеральный штаб. Но, по-моему, и солдаты порой бывали не безгрешными и подводили Генштаб. Там ведь как рассуждают: раз на таком-то участке люди есть, оружие у них есть, значит, этот участок должен быть удержан во что бы то ни стало. И вдруг телеграмма или звонок: такой-то участок фронта прорван, войска отброшены на десять — двадцать километров. Карты спутаны, выбрасывай, штаб, новые козыри — резервы.

Вот такая неустойка случилась и с одним нашим полком. Утром к его переднему краю подошли танки. Осмотрелись, атаковали в центре — получили по носу. Атаковали справа — получили под девятое ребро. Тогда они начали искать слабонервных. И нашли. Такими оказались солдаты левофлангового батальона. Сначала противник прошелся по ним авиацией, потом минометным огнем. И... батальон не выдержал. Потерь — десяток убитых и раненых, а солдаты дрогнули, показали противнику спину, да так, что оставили своих командиров. Те геройски погибли. Но это оказалось еще не самой большой бедой. Главная беда была в том, что они открыли фланги своих соседей, показали им пример своей заячьей прыти. С немалым трудом и очень неласково, — протянул в усмешке Знобин, — удалось остановить полк. Расставили роты по позициям, пристыдили. И что вы думаете? Людей уже было в два раза меньше, но, когда танки и пехота противника сунулись на рубеж, такую получили сдачу — два дня потом не могли опомниться. В чем же причина поражения и победы?

— В моральном факторе, — заученно ответил секретарь комсомольской организации.

— Верно. Сдали позиции, потому что не надеялись их удержать, а удержали, потому что поняли: отступать, бе-

жать — ни бой, ни войну не выиграть, ни жизнь, ни свободу не сохранить. — Знобин обвел солдат прищуренным взглядом и напористо спросил: — Как же вы выиграете завтрашний бой, если сегодня носом на земле расписываетесь, не можете обогнать артиллеристов?! — Подождав, когда солдаты подумают над его замечанием, Знобин вдруг широко улыбнулся и вполголоса скомандовал: — А ну, выше головы! Расправить плечи! — Солдаты привычно исполнили команду, Знобин осмотрел всех живым взглядом и объявил: — Да вы же молодцы! А если прихорошить себя улыбкой? — Под лихим взглядом замполита солдаты невольно заулыбались. — Теперь вы неотразимые! Кто идет в очередной забег?

— Рядовые Сильченко, Прохоров, Ниязов.

— Кровь из носу, а вырвать у артиллеристов победу! Расценим ее как героический поступок. И уверен, в будущем совершите его, если сейчас научитесь мужеству и стойкости!

Начался забег на полторы тысячи метров. По команде Знобина маленькая группка спортсменов начала подбадривать однополчан. Оживление передалось на трибуны. Заметив, что Сильченко вырвался вперед, солдаты с красными погонами, не жалея голосов, начали кричать: «Жми, ребята! Сильченко, обходи бога войны, поставь его на место, в тыл. Ниязов, наступай ему на пятки! Прохоров, догоняй!»

Но Прохоров отставал все больше и больше — голова его болталась из стороны в сторону, ноги плохо слушались, шаг становился все короче.

— Тянись, Прохоров, твоя победа — дойти до финиша! — закричал Знобин.

И бегун, подгоняемый сотнями голосов, побежал ровнее, уверенней.

Когда стайеры вышли на последнюю прямую и первым среди них оказался Сильченко, стадион гудел от криков и аплодисментов.

В это время на противоположной стороне стадиона Знобин увидал Любовь Андреевну. В ярком малиновом платье она медленно шла вдоль барьера. Голова ее была повернута к трибунам, на которых она кого-то искала. Когда Любовь Андреевна поравнялась со Знобиным, он пригласил ее сесть рядом. Она помедлила, как-то неопределенно повела плечами, но все же села. Прищурив глаза,

чтобы не так заметно было его намерение лучше разглядеть ее лицо, Павел Самойлович спросил:

— Кого разыскиваете?

— Да так...

— А если откровенно? Стесняться меня нечего, говорим не первый раз.

Любовь Андреевна отвернулась, но не так резко, чтобы ее жест можно было принять за решительный отказ говорить с ним, и Знобин решил подождать, пока она подумает.

Она догадалась, о ком с ней хотел говорить Павел Самойлович. О Геннадии Васильевиче. Встречи с ним нарушили ее покой. Его непринужденность, сила его высокой красивой фигуры влекли к себе и все больше заслоняли маленького заботливого мужа, который к тому же был намного старше ее. После возвращения из командировки он, вероятно, пойдет в запас (пятидесятилетнего на дивизию не назначат). Медленно с ним стариться ей не хотелось, а когда подумала о своей бездетности, ей стало не по себе.

Но, вспоминая сейчас встречи с Аркадьевым, за его веселостью она видела осторожность, а порой и боязнь. Выходило, он еще не задумался, к чему должны привести их встречи.

— Ну что же, Люба, поговорим? — и не дожидаясь ответа, Знобин поднялся. Встала и Любовь Андреевна. Они взошли на верхнюю пустую трибуну. Первой заговорила Любовь Андреевна:

— Говорят, на разборе учения больше всех досталось Аркадьеву и Берчуку?

— Да, досталось.

— За что же любимцу дивизии?

— Нашлось...

— Вот именно, — упрямо заявила Любовь Андреевна. — Он был не один, а разнесли только его. А все потому...

— Договаривай.

— Кое-кому перешел дорогу.

— Вы о чем?

— В свое время Михаил Сергеевич был неравнодушен к Ларисе Константиновне...

— Кто вам это сказал? Аркадьев?

— Да.

Знобин искоса посмотрел на Любовь Андреевну. Нет, в ее глазах была не только злость, но и глубокая озабоченность. И он допустил, между Гориным и Ларисой Константиновной что-то могло быть, но решительно отказывался верить, что из-за давней неудачи Михаил Сергеевич мог мстить кому бы то ни было.

— Не знаю, был ли Михаил Сергеевич неравнодушен к Ларисе Константиновне, но вчера, Люба, замечания Аркадьев получил справедливые. Управлял полком Геннадий Васильевич неважно. Молодой начальник штаба и то лучше разбирался в обстановке.

— Не верю! — решительно ответила Любовь Андреевна.

— Почему?

— Я знаю Геннадия Васильевича.

— Откуда?

— Знаю,— повторила без объяснений Любовь Андреевна. Знобин помолчал, подумал — видно, не на шутку увлеклась женщина — и с сожалением проговорил:

— Что вы, Люба, знаете? Красивый профиль, статную фигуру. Только далеко не всегда, поверьте, в красивой голове — красивые и тем более глубокие мысли. Вы — не девушка, и вам должно быть небезразлично это мужское качество.

— Мне и небезразлично, поскольку знаю, он — не профан...

— Всего за несколько встреч определили глубину ума и души человека?

— А разве нельзя?

— Иногда можно, если человек гений или профан, как вы сказали.

— Кто же, по-вашему, Аркадьев?

— Раз хватило выглядеть неглупым при встречах, значит, не дурак. Но за двое суток учений он ни разу не блеснул умом. Выходит, и далеко не гений. И здесь его нет. Значит, лишен еще и мужества: после неудачи побоялся показаться на глаза подчиненным.

Умолкли. Отвернулись. Поскольку разговор ничего не дал, Знобин решил убедить женщину другим.

— Люба, на что вы надеетесь?

— На счастье.

— Уверены, он решится принести его вам?

— Если не запретите.

— Запрещать такое нельзя, хотя и хвалить не собираюсь: у него дочь и немало других обязанностей.

— Он с женой — как собака с кошкой!.. — вспылила Любовь Андреевна.

— Думается, Люба, они только запутались в своих ссорах. Не любил бы жену — не вызывал сюда.

— Что ж... — вздохнула Любовь Андреевна.

— Можно считать, мы договорились?

— Нет.

— Что намерены делать?

— Пока не скажу.

Знобин понял: Люба заупрямилась и убедить ее сейчас невозможно. Достал папиросу, зажег ее, не спеша затянулся, обдумывая, как доказать Любови Андреевне, что Аркадьев далеко не такой, каким ей кажется. И вдруг подумалось, что Аркадьев, вероятно, сейчас дома, пьян, растрепан, надоел упреками и жалобами Ларисе Константиновне, и та потому пришла на стадион одна. Уж больно измученным было ее лицо, когда он с нею здоровался.

Но возникшее предположение насторожило самого Знобина.

— А знаете что, Люба, — наконец решился пойти на риск Павел Самойлович. — Если хотите лучше узнать Аркадьева, можете зайти к нему домой. Лариса Константиновна на трибунах, видите, в белом. О вашем посещении я ей скажу. Она рассудительная женщина, и шума не будет.

Неожиданность предложения смутила Любовь Андреевну. Она растерянно посмотрела по сторонам. Да, Лариса Константиновна сидела рядом с женой Горина, что показалось ей совершенно невозможным после того, что сказал ей Геннадий. И уверенность, что упреки на разборе ему достались из-за нее, поколебалась. Но она представила Геннадия Васильевича подавленного неудачей, совершенно одного в пустой квартире, и ей захотелось разделить его горе и тем доказать ему, что она всегда и в любом несчастье будет рядом, а понадобится — сумеет защитить его от несправедливости. Только бы хоть немного полюбил...

Пойти к нему тотчас она постеснялась. Повернулась, еще раз посмотрела на Ларису Константиновну, и ей показалось, что та не в настроении. Может быть, поссорились окончательно?

Чтобы узнать, не потому ли Лариса Константиновна

на стадионе одна, Любовь Андреевна встала и направилась вниз.

На ее осторожное «здравствуйте» не ответила только Лариса Константиновна. И не потому, что догадывалась о ее встречах с мужем. Ее возмутила та улыбочка, с которой Любовь Андреевна перевела свой взгляд с нее на Сердича и обратно. Тот почувствовал опасность и, желая предупредить ее, поспешил опередить возможные вопросы Любови Андреевны.

— Прошу, — указал он на свободное место рядом с Милой.

— Да нет, я к вам на одну минуту... Неудобно проходить мимо знакомых. Особенно мимо вас, Георгий Иванович.

— Почему?

— Свободный мужчина...

Сквозь очки, черная оправа которых сделала взгляд сухо-неприязненным, Сердич взглянул на Любовь Андреевну. Та будто не заметила его недовольства, и он перебил ее, чтобы снова увести от опасного продолжения разговора.

— Скоро начнется гандбол. Доверено судить. Кто желает посмотреть игроков поближе?

Любовь Андреевна, воспользовавшись тем, что женщины уклонились, и видя, что они не особенно рады встрече с нею, с притворной грустью произнесла:

— Товарищ вам, видно, только я.

Когда Любовь Андреевна и Сердич сошли с трибун, она неожиданно спросила его:

— Георгий Иванович, вам можно задать один щепетильный вопрос?

— Пожалуйста. — Сердич насторожился.

— Я слышала, и заметно, вы неравнодушны к Ларисе Константиновне?

Сердич хотел ответить: это совершенно не ее дело. Но, увидев в глазах Любови Андреевны растерянность, сдержался.

— Лариса Константиновна замужем и, кажется, не собирается выходить второй раз.

С самого утра Вадима не покидал душевный озноб. Почти все, что случилось ночью, произошло не так, как он ожидал. После разговора с Галей в последний день

ареста его охватила лихорадка, хотелось как можно быстрее сказать ей самые нежные слова, затем забыться в поцелуе, какой он видел в скульптурной группе Огюста Родена «Вечная весна» в Эрмитаже. Несколько дней он сдерживал себя, чувствуя, что еще не выветрился тот бешеный гнев, от которого пошли в ход его кулаки. И потому нельзя не то что целовать, касаться Гали. Оттого, что ему удавалось владеть собой, он в собственных глазах становился лучше, и когда к нему пришло ощущение чистоты и свежести, захотелось сказать Гале: готов ждать год и два.

Но уже с утра мечты стали рушиться. Его взвод стрелял последним. Плохо начал — кончил чуть лучше. Но самая большая беда случилась на ротном учении с боевой стрельбой. Он научил солдат кидаться вперед сразу, как только брошены гранаты. Так, вычитал он, учили перед наступлением на фронте. Чем меньше секунд между разрывом гранат и моментом, когда бойцы ворвутся на позиции врага, тем меньше потери. Но на учении один солдат из его взвода испугался боевой гранаты и на мгновение опоздал ее бросить. Она разорвалась близко от цепи, и мелкие осколки задели его и еще одного солдата. Царапнули. Когда об этом доложили только что прибывшему с учения Аркадьеву, он снял стружку с командира батальона, а потом с него, Светланова. Оправдания не помогли. И то ясное, что в нем открылось после разговора со Знобиным и Галей, затянулось черной тучей. Как можно перебраться теперь через нагромождения неудач, как изменить о себе мнение, когда старшие уже не считают нужным подбирать слова для своих упреков, он не мог разглядеть, и злое отчаяние начало овладевать им. Когда на улице увидел закусочную, лишь замедлил шаг, но, вспомнив обидные слова командира полка, его жесткий рот, темным огнем горящие глаза, пошел к красно-синему шестиграннику. Перед встречей с Галей выпил еще. Когда после кино она не согласилась зайти в ресторан, он направился один, будто за папиросами. А вскоре Гале пришлось его отвести в общежитие, чтобы не попался на глаза патрулям. В комнате, помнил Вадим, разразился признанием в любви, предложил стать его женой — она посоветовала ему выспаться. Попытался целовать — стала отворачиваться, сопротивляться, обнял — рванулась так, что порвалось платье...

Утром, едва открыв глаза, Светланов вспомнил, какой от него уходила Галя. Вспомнил и весь передернулся — так гадок был сам себе. Торопливо убрав постель, направился к дому Гали, надеясь увидеть ее и выпросить прощение за вчерашнее сумасбродство. Дважды прошел мимо ее дома, не замечая теплого оранжевого цвета, в который окрасили его белые стены ранние лучи солнца. Галя не показалась. Встал напротив ее окна, осмелился поднять руку — никого. И предположения одно хуже другого полезли в голову.

Чем можно оправдать себя, Светланов не знал и второй раз стал сам себе гадок. Не только войти в дом, стоять вблизи ему было стыдно, и он побрел по улице, не отдавая отчета, куда и зачем.

Из калитки вышел Знобин. Закурил, мельком взглянул на окна своей квартиры и спокойным шагом направился в городок. Еще издали увидел понуро бредущего офицера, прибавил шаг и вскоре догнал Светланова.

— Доброе утро! — громко поприветствовал его Знобин.

Светланов вздрогнул, в испуге поднял голову. Знобин заметил — у офицера тяжко на душе, значит, что-то произошло серьезное. И, упреждая намерение Светланова уйти в себя, напористо спросил:

— Что случилось, Вадим?

— Многое...

— Мне кажется, мы приобрели уже опыт разговаривать начистоту. Итак, что же случилось?

— Гадость.

— Какая?

— Мерзко в ней признаться даже самому себе. В общем ЧП, ЧП для самого себя.

— Яснее.

— Исковеркал свою любовь. Пришел к вашему дому, чтобы поправить ошибку, но Галя, видно, даже не захотела меня видеть.

— Да, — протянул Знобин, не зная, как отнестись к признанию Светланова. Осудить — возможно, погубить: офицер сам готов разбить себе голову; помочь — душа не лежала, так больно было за то мерзкое, что внес или хотел внести этот все еще не нашедший себя старший лейтенант в дом самого близкого человека. Поэтому ответил осторожно и чуть холодновато:

— Советую поговорить с самим Гориным. Вечером. Сейчас он в дальнем полку.

Совет Знобина немного обнадежил Светланова.

По заданию физрука он собрал команду гандболистов, провел короткую разминку, вместе с товарищами пошел на стадион. Против обыкновения, он был настолько тих, что ребята начали посмеиваться над ним. Он попытался отшутиться и вызвал у товарищей дружный смех. В это время Вадим вдруг увидел Галю. Под руку с матерью, оскорбленную, ненавидящую его — после такой гадости он еще смеется! Вадим сделал было шаг к Гале, но встретился с испуганными глазами матери, которая торопилась увести дочь от него, как от несчастья. Надежда исчезла, как капли с трудом собравшегося дождя во время зноя. Даже не осталось ощущения, что она только что была. Вадим отстал от товарищей, присел на скамейку под деревом и долго смотрел себе под ноги, ничего не видя.

Захотелось пить. Зашел в буфет. Бутылка боржоми не утолила жажду, и тогда он понял, чего хочет и чем должен кончить хотя бы сегодняшний день...

Он уже переступил порог закусочной, названной молодыми офицерами «Марусин огонек», когда сзади услышал голоса оставленных им друзей. Хотел было закрыть за собой дверь, но две руки, сильные и цепкие, рванули ее на себя, и Светланов оказался на улице.

— Ты куда?! За храбростью?!

— Уйдите!

— Только с тобой.

— Так в чем же дело? Плачу я, — развязно ответил Вадим.

— Дурак. Идем на стадион. Или хочешь, чтобы из-за тебя мы еще раз краснели перед командиром дивизии?

— Все возьму на себя.

— Вот что... Если подведешь команду, иного имени, как предатель, от нас не услышишь.

Туман в голове мгновенно рассеялся — товарищи сказали о нем то же самое, что и Знобин на гауптвахте. Перебежчик и предатель — синонимы. Да, мерзок же ты стал, Вадим! Но ему так не хотелось быть мерзким, что он отчаянно замотал головой, не соглашаясь и отрицая это обвинение.

— Тогда пойдем с нами.

Три рослых офицера, ускоряя шаг, направились к стадиону.

На зеленом поле перед трибунами уже стояли трехметровые ворота, когда к команде пехотинцев присоединились три игрока. Сердич дал свисток, и семь игроков в красных майках (в них выступали пехотинцы) устремились на голубых (артиллеристы). Но порыв их был скоро прерван, и вот уже голубые бросились вперед, а красные откатились к своим воротам и полукругом стали на их защиту. Несколько передач, и мяч, найдя щель, бомбой полетел в правый нижний угол. Через три минуты в воротах красных побывал второй, а в середине первой половины уже было 3 : 0 в пользу артиллеристов. Счет обещал быть разгромным — броски красных явно не шли, особенно у Светланова, основного снайпера пехотинцев, на которого играла вся команда. Посланный им мяч летел или мимо ворот или во вратаря, а несколько раз даже выскользнул из рук.

В перерыве товарищи обступили подавленно сидевшего на траве Светланова.

— Что с тобой? — спросил капитан команды, положив на согнутую спину Светланова горячую ладонь.

— Не получается, не могу. Замените, — взмолился Светланов.

Это так не походило на него, что вся команда с удивлением окружила Вадима.

— Можешь сказать, что произошло?

— Нет...

Все поняли: настаивать нельзя. Но и освобождать от игры неважно игравшего сегодня Вадима, если даже команда проиграет, тоже было нельзя: Вадим расстроен и может наделать глупостей.

Игра возобновилась. Оттого, что его не заменили, Вадим несколько приободрился. Но мячи по-прежнему плохо шли в ворота артиллеристов. При каждом промахе он задавал себе вопрос: «Неужели не можешь?» «Могу», — произносил он про себя, посылая мяч в сетку. Однако тот упорно не шел в ворота, и каждая неудача вызывала в Светланове сомнение в возможности переломить себя. Лишь под самый конец игры ему удалось забросить подряд два великолепных мяча. Ребята шумно обнимали его,

хлопали по спине. Можно было радоваться, но радость, едва возникнув, тут же исчезла — на трибуне ни Гали, ни ее матери уже не было.

17

От умных глаз Ларисы Константиновны не укрылась семейная невзгода Гориных — слишком внимательны и предупредительны были мать и дочь друг к другу. Она не посмела спросить о ее причине — знакомство их было еще не столь коротким. И вместе они оказались только благодаря Сердичу, который пригласил их сесть рядом, видимо, с тем, чтобы его собственное внимание к ней не особенно бросалось другим в глаза.

Когда Сердич ушел на поле, женщины понемногу разговорились. Лариса Константиновна узнала, что Михаил Сергеевич утром уехал в дальний полк, хотя за учение очень устал — утром едва поднялся. По тому, насколько спокойно и заботливо отозвалась о нем Мила, Лариса Константиновна поняла, что причина горя в семье не размолвка между супругами, а что-то другое, и это другое открылось ей, когда у Гали неожиданно выступили на глазах слезы. Лариса Константиновна безошибочно определила, кто был той горькой луковицей, которая заставила девушку прослезиться. Молодой человек, метавшийся по площадке, как показалось ей, огорчен был не менее. Значит, они любят друг друга, и размолвка их, видимо, не так уж серьезна. Только бы она не ожесточила их, не толкнула на необдуманные поступки, которые чаще всего коверкают любовь.

Когда Лариса Константиновна присмотрелась к Светланову, в его беге, рывках и бросках увидела что-то сходное с капризным упрямством и обостренным самолюбием мужа, которые принесли ей столько обид и слез. И ей захотелось уберечь девушку от несчастий, которые достались ей самой из-за неумения вовремя увидеть в красоте, силе и привлекательной настойчивости Аркадьева ограниченность желаний, пустоту. К чему все это привело, ей горько было сознавать. Среди малознакомых людей сейчас ей было легче, чем дома с мужем, который своими упреками довел ее до того, что она чуть не решилась пойти к Знобину за помощью. Но подумав, что Знобин всем, что

Она ему расскажет, поделится с Гориным, Лариса Константиновна устыдилась и, когда муж разразился еще одной очередью особенно обидных упреков, она второй раз чуть не заявила ему о разводе. Удержала дочь. Перенесет ли она, не совсем здоровая, утрату отца? На горе, любит его. И поймет ли, хоть с годами, нелегкое решение матери? Сохранит ли любовь к ней?

К тревогам о дочери примешались еще какие-то не совсем ясные чувства. Не хотелось вот так, сразу, покинуть этот городок. Что-то удерживало, с чем-то хотелось проститься и потом уже определить свое будущее.

Передумав все случившееся, Лариса Константиновна решила увести девушку подальше от молодого двойника своего мужа.

— У вас нет желания прогуляться? — предложила она Гориным.

— Да, нам лучше уйти,— согласилась Мила.

Женщины медленно шли по городку, не зная, о чем завязать разговор. Поравнявшись с клубом, Лариса Константиновна предложила зайти туда — ей очень захотелось поиграть, а одной неудобно. Первой согласилась Галя, мать пошла за ней.

Лариса Константиновна открыла рояль и долго сидела неподвижно, не решаясь прикоснуться к клавишам. Вспомнился голос рыдающей женщины из спектакля «Гранатовый браслет», который как-то передавали по радио. Последняя сцена в комнате Желткова. Редкие, в слезах, слова Веры Николаевны на фоне медленной «Лярго Апассионато» из Второй сонаты Бетховена. Лариса Константиновна разучила ее, когда жила в Германии. Дочь уходила в школу, муж на службу, а она садилась за пианино. Так за полгода выучила все четыре части сонаты. Но играла лишь для себя, в минуты невеселых раздумий. И сейчас пальцы, не заботясь о том, как справятся с бетховенской бурной сложностью, наконец, сами тронули клавиши.

Знобин зашел в комнату, когда Лариса Константиновна играла уже вторую часть, медленную, тоскливую, как затянувшееся несчастье. Еще на улице он узнал, кто играет, и пошел на звуки. Слушая теперь музыку, сам поддался ей. Ему хотелось сказать: «Милые вы мои женщины, плюньте на все невзгоды; при всех неприятностях жить все же чертовски хорошо». Но раздавшиеся в это время резкие аккорды остановили его. И опять — еле слышные

печальные звуки, которые сменили почти веселые повторяющиеся трели третьей части и, наконец, песня-марш в последней — это уже надежда и желание радости.

— Хорошо! — произнес Знобин опьяненно и повторил: — Хорошо!

Ларисе приятна была не сама похвала Знобина, а как он произносил слово «хорошо». Размягченным добрым голосом она спросила:

— Вы знаете, что я играла?

— Бетховена, а что, не знаю. Но все равно хорошо, почти как «Аппассионата».

— Вторая часть этой сонаты называется почти так же — «Лярго Аппассионато».

— Вот поэтому я, видно, и угадал... Знаете что, милые женщины. Вижу, вы загрустили, а в воскресенье это воспрещается. Разрешите рассеять ваше минорное настроение. Предлагаю прогулку за город. Есть у меня один знакомый дед. Будет уха, чудеснейшая!

Мила хотела уклониться, но Павел Самойлович, разгадав ее намерение, шутливо отверг его:

— Во-первых, Михаил Сергеевич достаточно умен, чтобы не ревновать вас, тем более ко мне, во-вторых, мы вернемся на концерт, а в-третьих... Вы не знаете, как хорошо подышать свежим воздухом, не говоря уже об ухе.

— Тимур же останется один...

— Заберем и Тимура.

И по дороге и на берегу реки Знобин шутил и шумел. Он мог бы казаться совсем веселым, если бы не его глаза, которые часто и пристально задерживались на Ларисе Константиновне, будто определяя, с какого боку и в какое время лучше к ней подойти. Когда женщины закончили чистить рыбу и заварили ее, он, хитро улыбаясь, сказал:

— Да, уховары из вас неважные. Надо было несколько рыбешек оставить для повторной варки и для заправки. В наказание, Лариса Константиновна, вооружайтесь удочками. Тимур тоже.

Знобин настроил удочки Ларисе Константиновне, Тимуру, забросил в заводь свою. Постоял. Взглянул на солнце, взобравшееся в самую высь поднебесья, на котором выметались белые стога курчавых туч, потом на изнуренные

жарой ивы и березы, потянувшиеся своими тонкими руками-ветками, уже позолоченными первой осенней листвой к воде, которая тоже лениво скользила куда-то вниз. Знобину и самому захотелось снять рубашку, сапоги и опустить ноги в воду. Но нужно было поговорить с Ларисой Константиновной.

Тимур, не выдержав бесклевья, побрел по берегу. Знобин встал, перебросил удочку на течение, потом еще раз и подошел к Ларисе Константиновне.

— Давайте посидим,— предложил он. Укрепив удочки над водой, подсел к Ларисе Константиновне, попросил разрешения закурить.

— Лариса Константиновна,— обратился он, доставая из старого фронтового портсигара папиросу.— Я должен извиниться перед вами. Без вашего согласия я посоветовал Любови Андреевне зайти к вам в дом.

— Зачем? — насторожившись, спросила Лариса Константиновна.

— Мне кажется, от судьбы вашей семьи зависит судьба другой.

— В какой мере?

— Вы не догадываетесь?

Лариса Константиновна поняла: о встречах Геннадия с Любовью Андреевной знают и другие. Но беда не только в них.

— О двух встречах мужа с этой... я знаю,— произнесла Лариса Константиновна брезгливо.— Но не эта вина его для меня особенно тяжка. Удивлены?

— Удивлен,— согласился Павел Самойлович.

— Просто уверена, ухаживанием за Степановой Геннадий решил сорвать злость или добиться моего смирения. На большее он не решится.

Знобин пристально взглянул на Ларису Константиновну — не спасает ли мужа от неприятностей? Нет. Горькая усмешка сменилась угнетенностью, очень глубокой и давней, и Знобин понял истинный смысл ее слов.

— Когда женщина так безразлично говорит о волокитстве мужа... она или сама очень неравнодушна к кому-то или муж пристрастился к опасному хобби. У вас, вернее всего, второе.

Голова Ларисы Константиновны начала медленно наклоняться к коленям, и Знобин спросил уже прямо:

— Насколько далеко зашло его пристрастие?

— Для других, возможно, нет, для меня — далеко.

— Почему же молчите, на что надеетесь?

— Уже ни на что. Решаю уехать к дочери.

— Нелегкий шаг. А может быть, попробовать вместе изменить его?

— У меня не хватит сил. Он подумает, что вам пожаловалась я, и изведет — опозорила!

— Можно без вас, если разрешите.

Лариса Константиновна неуверенно кивнула головой.

— Расскажите, в чем причина, что он стал таким?

— В чем? — в раздумье произнесла Лариса Константиновна.— В честолюбии. Не вяжется?

— До некоторой степени — да. Честолюбцы обычно бодрятся, играют в значительность до глубокой старости.

— Не выдержал.

— Как же вы, умная, разборчивая женщина, вовремя не разглядели его?

— Тогда я была девушка,— Лариса Константиновна сузила ресницы и на минуту умолкла. Упрек Знобина ей был неприятен, еще более — продолжение разговора, в котором надо открывать постороннему семейные дрязги. «Но, по сути, они ему известны,— возразила себе Лариса Константиновна,— ему нужны только причины. А упрек, вероятно, вырвался случайно, из доброго сочувствия. Возможно, беду твою он выслушает без осуждения, как умный врач. Откройся, вдруг подскажет что-то хорошее или сумеет повлиять на Геннадия.— И тут же испугалась: — Но он обо всем может поделиться с Михаилом Сергеевичем! — И через минуту горестное признание: — А Горин разве не знает? Читал личное дело, не раз разговаривал о муже с Павлом Самойловичем... Скрывать всем известное — смешно и глупо. А тебя еще считают умной женщиной. Так что...»

Лариса Константиновна приподняла голову, устремила взгляд на противоположный берег и устало заговорила:

— С Аркадьевым я познакомилась через два года после неудачной дружбы с Михаилом Сергеевичем. Выбор еще был, но уже не тот, что прежде. После четырех лет войны офицеры влюблялись быстро, с предложениями не тянули, и девушек, жаждущих выйти замуж, было с избытком. Геннадия я предпочла потому, что казался сдержанным,

выглядел скромнее фронтовиков, которые не импонировали мне своим прямолинейным ухаживанием.

— И Михаил Сергеевич?

— Нет, он был добрым исключением. В Геннадии мне виделось что-то сходное с ним — тоже, казалось, не хотел ни с кем соперничать, проявлял только сдержанное внимание и терпеливо ждал.

— При его данных, характере... как-то не верится.

— Другим он быть не мог: офицером стал после войны, имел всего одну, юбилейную медаль. Лишь работа в училище позволила быстро поступить в академию. Среди слушателей тогда и капитан был редкостью, в большинстве учились майоры... полковники, а он — всего старший лейтенант. Снисходительность, шутки видавших виды однокашников были ему обидны и вызвали в нем, как я поняла позже, острое, болезненное желание догнать и обойти обидчиков, доказать, что, не родись он с запозданием, еще не известно, у кого было бы больше орденов. Первым его трофеем оказалась я.

— Трофеем?

— Можно подобрать другое слово, помягче.

— Торжествовал?

— Не слишком открыто. Все же любил меня. Но не только за то, что нравилось во мне другим.

— Что же еще?

— Папа. Опять удивлены?

— Уже меньше.

— Папа работал в Генеральном штабе, начальником управления. Геннадию казалось, что только там он сможет применить свои способности и с помощью папы облегчить себе службу. Мне не хотелось уезжать из Москвы, и я поговорила о Геннадии с папой.

Мы остались в Москве, родилась дочь, и пять лет, можно было бы сказать, прошли счастливо, если бы не умер папа.

При очередном аттестовании Геннадию записали: без войсковой практики назначение на новую должность нецелесообразно. Он тут же подал рапорт и уехал в войска.

На штабе полка был недолго, заместителем командира — задержался. А когда стал командовать полком, дела пошли хуже: взысканий получил с избытком, даже партийное. И он сник, замкнулся, домой начал приходить нетрезвый. Предложила пойти работать в академию — от-

казался: не надеялся, что со взысканиями возьмут, или решил изменить о себе мнение. Скорее второе. Ушел в работу, сидел в полку, не зная свободных вечеров и выходных, научился повышать голос, разбрасывать взыскания. Перестал читать даже самое необходимое, и разговоры наши стали скучными, плоскими. Когда упрекала — отшучивался: теперь любят не знающих, а умеющих... быть не умнее начальника. Некоторое время я мирилась, ждала: улучшатся дела полка, возьмется за себя. Дела поправились, он получил полковника, но... вечера пошли на преферанс, игру в бильярд, участились званые ужины для избранных, нужных. Такие, как в честь моего приезда, а по сути ради Амбаровского и Горина. Но Михаил Сергеевич, видимо, догадался, не пришел... В этом причина наших ссор, хотя поводы для них бывают разные и самые пустячные...

Знобин затянулся. Причина болезни была ясна, а лечить не хотелось, тем более тем, что хочет сам Аркадьев — продвижением по службе. Не заработал. Нет, его надо лечить иначе, сурово, как вообще лечатся такие болезни. Или — или. Или перевернет всего себя, или вон. Без жалости, без малейшего сострадания!

В городок вернулись незадолго до начала концерта — только успели переодеться.

В ожидании концерта Знобин чутко прислушивался к разговорам — забылось ли у людей огорчение, вызванное суровой проверкой. В гуле голосов вроде не слышалось унылого настроения, хотя было оно совсем не тем, что неделю назад.

У ближнего от сцены входа увидел Сердича, который, как ему показалось, нетерпеливо искал кого-то. «Может, что случилось?» — подумал Знобин и подозвал его к себе.

— Вы давно из штаба?

— Только что.

— Что там?

— Ничего, все в порядке.

— Михаил Сергеевич не звонил?

— Звонил. Просил передать, задержится: приглашен на свадьбу.

— Тогда занимайте его место.

— Благодарю.— Сердич сел между Галей и Ларисой Константиновной. И тут почувствовал такое волнение, что с запинкой поздоровался с Ларисой Константиновной и,

чтобы она не заметила в нем внезапной перемены, обратился к Гале.

Внимание полковника к девушке вызвало шутки в группе молодых офицеров, среди которых находился и тот, кто был уполномочен занять свободное место рядом с Галей, объяснить ей поведение Вадима и договориться о свидании.

— Если полковник продолжит свои приятные улыбки и в будущем, акции Вадима упадут до катастрофического уровня.

— У Вадима одно существенное преимущество — он намного моложе. И потом, друг Сережа, надо развивать наблюдательность, иначе на всю жизнь останешься верхоглядом. Рыба такая есть,— возразил ему с насмешкой другой офицер.

— Посмотрим.

— А я уж дважды подмечал, с каким томительным волнением сей рыцарь даму пожирал,— продекламировал офицер.

Второй офицер оказался прав — поговорив с Галей, Сердич повернулся к Ларисе Константиновне.

— Шевельнулся, значит, скоро начало,— кивнул он на занавес.

— У вас какое-то необычное настроение. Возможно, хотите петь?

— Не на публике.

— Да, уже не те годы, когда хочется ее шумного внимания,— сказала Лариса Константиновна про себя.

— Но сегодня вам этого не избежать.

— Вернее, вам. Аккомпаниатор всегда в тени. Положение обязывает вас спеть хорошо.

Внимание Ларисы Константиновны тронуло Сердича, и он, сдержав волнение, ответил:

— Спасибо за заботу. Нам скоро выступать, пройдемте к роялю.

После исполнения номера, шумно одобренного залом, настроение Сердича приподнялось. Но когда, направляясь в зал на свое место, он подумал, что Лариса Константиновна скоро уйдет домой, сердце его томительно сжалось. Лариса Константиновна, заметив в нем перемену, спросила:

— Вам не слишком одиноко, когда вы возвращаетесь с работы домой?

— Одиноко.

— Почему же...— не договорила Лариса Константиновна.

— Один академический товарищ... Вы не знали подполковника Кучара?.. Такой огромный?

— Чуть-чуть помню. Кажется, принимала у него кандидатский по языку.

— Значит, он. Уже доктор, профессор, скоро генерал. Так вот, он посоветовал мне: не женись на красивой, женись на любимой.

Стесненный голос больше, чем слова, открыл Ларисе Константиновне состояние Георгия Ивановича. Какое-то время на душе было тепло и грустно. А когда уселась на место, мысли отлетели к Горину. Вспомнилось волнение, которое охватывало его при встречах с нею здесь, в городке. Но почему за все это время он ни разу не попытался увидеться с ней наедине, по-дружески поговорить, погрустить о давно минувшем? Не хочет себя тревожить? Или боится разговоров? Или настолько увлечен службой, что иного счастья и не ищет? Или вполне доволен семьей? Лариса Константиновна задавала вопросы и не находила на них ответа. Она посмотрела на Милу и вдруг заметила, что лицо ее иссечено мелкими морщинками, которые несомненно были следами нелегко прожитой жизни. И снова побежали вопросы: «Неужели во многих из них виноват Михаил? Нет, едва ли. Видимо, работа, тревоги за судьбу женщин и детей, которых она лечила, невзгоды семьи постепенно исписали ее доброе лицо. Вот, теперь что-то случилось с дочерью. И как это сблизило мать и дочь! И Михаил Сергеевич, наверное, знает о новой беде: расспросил, высказал свое мнение, что-то посоветовал. А потом случившееся обсудили всей семьей».

От доброй зависти учащенно забилось сердце. Как ей хотелось делить с семьей любое горе! Поровну между всеми. Пусть даже ей достанется больше...

Раздались аплодисменты. Лариса Константиновна не слушала исполнителя, но все же несколько раз беззвучно похлопала ладонями.

— Вы о чем-то думали, и, кажется, о невеселом? — спросил предупредительно Сердич.

— У женщин всегда больше невеселых дум.

— Согласен.— Сердичу захотелось добавить что-нибудь такое, что заставило бы ее подумать о нем. Но он лишь осторожно вздохнул.

В перерыве Горины начали собираться домой. Лариса Константиновна тоже решила уйти из клуба. На секунду ее потянуло к себе, но, вспомнив, что по комнатам бродит злой Геннадий, она с отвращением вздрогнула. Зобнин попробовал их удержать, но женщины настояли на своем, и тогда он шутливо приказал Сердичу:

— Георгий Иванович, доставить в полной безопасности.

По дороге Мила пригласила всех к себе на чай. Ларисе Константиновне и хотелось увидеть семью Гориных дома, и было боязно неожиданно встретиться с Михаилом Сергеевичем. Тем более в сопровождении полковника Сердича. И она уклонилась, сославшись на позднее время и усталость хозяина.

Молча дошла с Сердичем до своего дома. Надо было расставаться. Лариса Константиновна украдкой посмотрела на окна квартиры — они светились полным светом. Стало быть, Геннадий не спит, и незаметно пройти в свою комнату не удастся, а выслушивать его вопросы, упреки, подозрения ей было тяжко.

Наклонив голову, она попросила:

— Пройдемтесь еще немного.

Неожиданность предложения всполошила мысли Сердича, и он никак не мог найти тему, чтобы занять Ларису Константиновну. Лишь через несколько шагов вспомнил прерванный началом концерта разговор об академии и подумал, что ей будет приятно услышать о том, что там произошло после ее отъезда из Москвы.

Действительно, рассказ заинтересовал ее. Она и сама вспомнила некоторых преподавателей. Незаметно для себя они оказались в небольшом сквере. Сели на скамью.

Сердич поднял взгляд на Ларису Константиновну, и на мгновение перед ним встало худое печальное лицо жены, ее глаза, уставшие от боли, в которых уже виднелось вымученное желание: скорее бы... чтобы не мучить и вас. От сурового укора себе не то что говорить, думать сейчас о своих чувствах ему казалось невозможным.

— Теперь о чем-то невеселом задумались вы,— сказала Лариса Константиновна.

— Установленные людьми сроки траура по близким... иногда оказываются короткими, — взглянув на едва мерцающую звезду, сознался Сердич. Но, подумав, что когда-то же образ жены отойдет в даль, и, возможно, это время

совпадет с решением Ларисы Константиновны изменить свою жизнь, он продолжил: — Воспоминания порой делают тебя в чем-то виноватым перед ушедшими. Но жизнь продолжается. Рядом, в самом себе. Остановить ее невозможно и противоестественно. Как бы ни затасканно выглядели слова романса, но мне хочется сказать вам: «Я встретил вас, и все былое...»

— Не нужно, Георгий Иванович.

— Понимаю. Мне известно, что происходит в вашей семье. И если что случится, я повторю вам эти слова.

Лариса Константиновна наклонила голову, как бы подтверждая, что услышанное ей совсем не безразлично. Но сегодня она решилась использовать последнюю возможность сохранить семью и потому не может и не хочет слушать никаких признаний.

18

Горин подъехал к дому глубой ночью. Расписавшись в путевом листе, спросил шофера:

— Не проголодался?

— Нет, товарищ полковник. Как-никак были на свадьбе. Сама невеста накормила. На три дня, не меньше.

— Тогда поезжай отдыхать.

Едва машина сделала разворот, к Горину подошли два офицера.

— Разрешите, товарищ полковник? По личному вопросу.

— Сразу двое и в такой поздний час?

— Один. Наш товарищ...

— Если он не трус, о личном должен просить сам.

— Сейчас он будет здесь.

Офицеры скрылись за деревьями и минуты через две из-за них показался Светланов. Его походка, весь вид подсказали полковнику, что произошло что-то тяжелое, значит, и разговор будет, видно, долгий. Не дожидаясь приветствия, Горин, скрывая плохое предчувствие, предложил:

— Давайте поищем, где можно сесть и видеть друг друга.

Они вошли во двор, уселись на скамейку под фонарем. Лицо Светланова было измученно-хмурым. Офицер чувствовал это и пытался хоть немного изменить его выраже-

ние. Но попытки приводили лишь к гримасам, он чувствовал это, и ему становилось еще более совестно и тошно. Смотреть на Светланова Горину было неприятно, слушать его мрачную исповедь — тоже, тем более что она могла касаться дочери. Но отказать офицеру в разговоре он не мог.

— Говорите, слушаю вас.

— Я...— трудно, словно из последних сил удерживал огромную тяжесть, проговорил Светланов,— ...сегодня я совершил низость.

Горин не сдержал возникший в душе гнев и резко проговорил:

— Именно?

— За то... За то, что у меня случилось во взводе, полковник Аркадьев пообещал не выпускать меня с гауптвахты. Пока я не научусь уважать полк. И я опять решил уйти из армии. Но без Гали... не мог. Для храбрости выпил, сделал предложение. Потом... вот здесь она назвала меня подлецом. Вам неприятно меня слушать?

— Я тоже человек, для которого существуют пределы терпения.

— Разнос так меня потряс, что я не подумал, к чему может привести выпивка.

— Вы даже не понимаете, чем вы меня оскорбили. Вместе с Галей.

Горин поморщился, потер ладонью лоб, глубоко задумался, будто забыл о собеседнике. «А если расскажу все? — подумал Светланов в страхе.— Я просто покажусь ему паршивцем, с которым не то что жить, сидеть рядом противно!»

Светланов поднялся, блуждающим взглядом окинул звездную глубину и сдавленным голосом попросил:

— Разрешите идти? Виноват во всем я, и мое место... не здесь.

Слова офицера заставили Горина очнуться. Он взял его за руку и не слишком вежливо усадил снова на скамейку. Понимал, что надо смягчиться, и не мог. Не выпуская руки офицера из своей и крепко сжимая ее, будто стремясь за боль причинить боль, Горин недвижно сидел до тех пор, пока не отлегло от сердца.

— Самая большая глупость, старший лейтенант,— наконец заговорил Горин,— от одной низости спускаться к другой. Я раньше считал и, раз понимаете свою вину, счи-

таю и сейчас, что из вас еще может получиться человек. Поэтому расскажите о себе все. С первого шага до последнего. Хочу знать вас лучше.

Из нетвердых, взволнованных слов Светланова следовало, что раннее детство его совпало с годами, когда все еще звенело победно закончившейся войной. В ребячьих играх громился противник, штурмом брались города. Так родилась любовь к военной службе. В десять лет уже был в суворовском училище. Первые два года прошли по-детски увлеченно. Потом зачастило озорство, безобидное сначала, идущее от желания казаться бесстрашными, как фронтовики-разведчики. Но после драки со старшеклассниками соседней школы, за которую многие были наказаны, а воспитатель не защитил их, класс обозлился, замкнулся бурсацкой круговой порукой и выкинул такую каверзу, что воспитателю, в сущности доброму и хорошему, как сознался сейчас Светланов, пришлось уйти из училища.

Неумное упрямство, подумал Горин, слушая Вадима, видимо, так впилось ему в душу, что его не смогли вытравить и в военном училище. К тому же у Светланова, как последний молочный зуб, прорезалась и еще одна недобрая черта — дутая высокомерность: в суворовском, мол, нас учили не лаптем щи хлебать. В общем, возомнил себя блестящим офицером. И когда пришел в полк, это помешало ему сблизиться с товарищами, подчиненными, а военная служба с ее частыми караулами и хозяйственными работами стала казаться нудной. Пошли срывы, за ними замечания, временами резкие. Он, конечно, взвинчивался, дерзил, а когда раскаивался, видимо, не находился тот человек, который бы узнал и понял, как Знобин, чем он живет, к чему стремится, почему оступился, или даже что-то бы простил ему, чтобы молодой офицер поверил в добро, постарался увидеть трудную красоту армейской службы.

Слушая молодого офицера, Горин в уме отмечал, где в своих бедах виновен старший лейтенант, где другие. Чтобы убедить человека, считал он, нужно сначала понять его, только потом придут нужные слова и решения. Понять Светланова прежним его начальникам и Аркадьеву не хватало терпения. За его проступками следовали замечания, предупреждения или кое-что пожестче. И он сам ожесточился.

Вскоре в рассказе Светланова Горин услышал другой

мотив — работа взводным надоела, особенно сейчас, когда кое-кто из товарищей уже командует ротой, готовится в академию, будет учиться, умнеть, потом получит такую должность, в которой будет широта и что-то действительно интересное и перспективное. Откуда эта жажда успехов? Не оттого ли острое желание подниматься вверх, что некоторые к месту и не к месту пользуются старым изречением, которым полководцы прошлого заставляли подчиненных тянуться, выслуживаться, завоевывать им победы и славу: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А быть может, он завидует нам, фронтовикам, которые в двадцать один — двадцать три командовали батальонами и полками, а в его годы — даже дивизиями? И почему за весь свой рассказ Светланов почти ничего не сказал о том, какую радость доставляли ему подчиненные, которых он делал опытными солдатами, без чего работа любого командира не может быть действительно интересной?

Светланов умолк. Настала очередь говорить старшему. Горин подождал, пока подберутся нужные слова и, оглядев офицера, будто прикидывая, как возможно глубже войти к нему в душу, заговорил с усталой медлительностью:

— Я внимательно выслушал вас,— начал Горин, сорвав у ножки скамейки былинку.— В том, что вы такой неустоявшийся, измятый, виноваты вы сами, и отчасти мы, старшие. Вам двадцать семь. Пора, давно пора научиться различать в жизни хорошее и дурное, выбрать свой курс. Ленин в семнадцать лет знал, чем будет жить всю жизнь. Гусар Лермонтов был моложе вас, когда стал гордостью всей России. А Тухачевский, царский офицер, дворянин, во всей сумятице революции сумел разглядеть главное — обновление России и отдал ему всю силу ума и таланта. И тоже в ваши годы. Вы же все еще мечетесь, кипите от маленьких несправедливостей.

Скажите мне,— поддаваясь чувству обиды, резче заговорил Горин,— вы хоть раз бросились в настоящий бой против плохого, в защиту правды, справедливости? В такой бой, исход которого, возможно, заставил бы спросить себя: быть или не быть?

— Не приходилось.

— Но возмущались?

— Было.

— Как?

— С товарищами.
— А на собрании, у всех на виду?
— Нет.
— Выходит, только шумели, изливали гнев у себя в закоулке, то есть по-мещански. Не подразумевали в себе такое? Бывают храбрыми и мещане, на минуту, час, а командир обдуманно-смелым должен быть всегда, только тогда он чего-то стоит!

Горин взглянул на Вадима. Шея и спина того вытянулись, будто он собирался сорваться и убежать. Но руки, ухватившие край скамейки, крепко держали его на месте, значит, можно добавить еще, и Горин продолжал:

— В вашем рассказе я услышал много жалоб на то, что вас слишком долго держат на взводе. И все же, узнав сейчас вас лучше, убедился: роту вам давать еще рано. Вы не владеете своим характером, делаете глупости. Сейчас они в какой-то мере поправимы. А на войне? Глупость — это ваша гибель и гибель многих ваших подчиненных. Такие командиры, как вы, особенно опасны в неудаче. В сорок первом именно похожие на вас чаще всего впадали в истерику и пропадали. На войне несчастий и бед больше, чем в мирное время. Надо заранее научиться переносить их. Вы этому учитесь плохо. А пора бы...

Горин передохнул. Предстояло сказать о другом, о дочери.

— Теперь о вас и Гале. Женятся, конечно, не по расписанию. На свете существует такая вещь, как любовь; именно она определяет, когда людям жениться и когда выходить замуж. Но одной любви мало. За женитьбой следует семья, обязанности отца и матери. Скажите откровенно, вы готовы быть мудрым отцом?

— После стольких глупостей поверить мне, конечно, трудно,— признался Светланов.— Да я и сам... сейчас не уверен. Но без Гали я не могу. Своим предложением по пьянке и потом... Я оскорбил ее. Не знаю, захочет ли она простить меня.

Горин прикрыл глаза ладонью и опять умолк надолго, а Светланову стало казаться, что полковник собирается сказать ему слова, в которых не будет даже слабой надежды. Но в голосе Горина не было ни гнева, ни уверенности.

— Даже не знаю, что вам сказать и посоветовать. Думаю, что свои отношения вы можете выяснить только са-

ми. Единственное, что я могу обещать — не гнать вас от себя, от семьи. Советовать что-либо Гале сейчас тоже не могу. Со мною она, возможно, и не поделится своими неприятностями. К тому же я ей не родной отец. Об этом она еще не знает. И вам сказал лишь потому, чтобы вы правильно поняли меня.

Офицеры встали. Попрощались. Потрясенный всем услышанным, Вадим шатко повернулся и медленно пошел домой. Как сложно, оказывается, построена армейская жизнь. А казалась простой до серости, и не было нужды рассматривать ее с помощью оптики. Кто это делал, потвоему, был ханжа или карьерист. Вот и занесло тебя... Ты где-то читал: понимать человечество нужно начинать с самого себя — в себе все известно, нужны только честность и мужество. Вот и начинай с толстовской беспощадностью. Без этого не выбраться на хорошую дорогу, не очиститься от прилипшей грязи.

Шел третий час ночи. Мать и дочь не спали. Они слышали, когда Михаил Сергеевич подъехал к дому. Ждали — войдет, а он все не появлялся. Мила вышла в подъезд и увидела Михаила с Вадимом. Растерянная, смущенная, поднялась к себе. Как и боялась — Михаил не от нее узнает о беде Гали. Бесконечно долгим показался ей разговор во дворе.

Михаил подошел к квартире не как обычно. У двери остановился, постоял, до кнопки чуть дотронулся — звонок лишь сонно вздрогнул. На пороге тоже немного постоял и только затем прошел в комнату и неохотно поцеловал жену и дочь. Снял китель, повесил на спинку стула. Сел. И все при полном молчании.

— Миша!

— Не нужно, Мила. Я все знаю. Галя вполне взрослый человек и все должна решать сама. Не будем, я очень устал.

— Папа, ты меня можешь выслушать? Я не могла предположить, что он окажется подлецом.

— Галя, не торопись с резкими суждениями.

Горина потянуло к сыну. Он вошел в его комнату, поправил сбившееся одеяло, но, поняв, какую боль причиняет Гале, тут же вернулся в гостиную.

— Ложись спать... Скоро утро, оно мудрее ночи. Мой

совет: потерпи. Он любит тебя, и есть надежда, что изменится. А любящий муж — это очень много...

Посветлело. Предутренняя синева заполнила комнату. Размытыми линиями обозначилось ее простое убранство: платяной шкаф, две кровати, письменный стол с календарем школьника над ним. Вскоре на нем стали различаться медведь, синица, столбик расписания уроков, а Михаил и Мила все еще не спали. Лежали молча, будто чужие. Вдруг наступивший разлад в семье вызвал у Милы такое горе, что, как ни крепилась она, слезы сами собой покатились по ее щекам.

— Не нужно, Мила, все обойдется.— Михаил подвинулся к ней, положил ее голову к себе на плечо.

— Я нечаянно сказала Гале, что ты ей не родной.

— А я сказал ему.

— Ты действительно считаешь, что он одумается?

— Надеюсь. Давай уснем — у меня с утра много дел, — проговорил Горин вяло, будто действительно хотел спать, хотя знал, что не уснет до тех пор, пока еще не раз обдумает все и не решит, как лучше всего начать новый день в семье и на работе.

19

Состояние, в котором оказалась дивизия после проверки, пришел к выводу Горин, чем-то отдаленно напоминало то, в котором оказались войска в сорок первом в первый день войны. И он решил использовать неудачу дивизии, чтобы командиры подумали и поучились, как надо выводить войска из трудного положения, которое нередко складывается в начале войны.

Днем собрал управление дивизии и командиров частей, расспросил их о настроении солдат и офицеров, потом выступил сам.

— Прошу извинить, что прервал положенный за учение отдых: через две-три недели начинается инспекторская проверка дивизии. Предварительную мы выдержали неважно. Чтобы результат не повторился, нужно сделать следующее...

Чтобы заострить внимание командиров, Горин сделал паузу, взглянул на листок своих записей и сжато, как пункты приказа, начал отдавать указания.

— Первое. Ввести в четкий спокойный ритм всю жизнь полков. Без штурма и перенапряжения. Спокойствие придаст всем уверенность, и на инспекторской люди покажут все, что они знают и умеют.

Второе. Каждому командиру четко определить, какому подразделению и какой дисциплине уделить при подготовке к проверке наибольшее внимание.

Третье. Всем штабам, в том числе и штабу дивизии, уйти в войска, в подразделения, к солдату. Не инспектировать, не собирать недостатки, а вдумчиво учить и готовить к бою. Лично или вместе с командирами взводов, рот провести самые сложные занятия. Не как старшие, а как доброжелательные и вдумчивые товарищи, поговорите с каждым трудным солдатом, добейтесь, чтобы он понял, почувствовал, как надо готовиться к экзаменам и сдавать их. Я это напоминаю не только ради того, чтобы дивизия получила хорошую оценку, но и для того, чтобы все мы, от старшего до младшего, как следует использовали время между двумя проверками и научились переводить сознание людей из мирного, благодушного состояния в обостренно-боевое, которое должно быть у них в угрожаемый период и в начале войны.

И еще раз — доверие и уважение друг к другу, помощь друг другу и спокойная точная, требовательность, — заканчивая, сказал Горин. — Тогда все подразделения и части еще крепче сплотятся в один боевой организм, которому не страшно будет любое испытание.

Полковнику Аркадьеву показалось, что командир дивизии сегодня несколько мягче, чем был на разборе, а главное — накануне инспекции не станет заводить большой шум вокруг его, в сущности, безобидных встреч с Любовью Андреевной. Он задержался у двери и, когда все вышли, обратился к Горину:

— Разрешите по личному вопросу, товарищ полковник?

— Пожалуйста. — Горин кивнул на стул, предлагая сесть.

Аркадьев плотно закрыл дверь, подошел к столу, хотел начать стоя, но комдив вторично указал ему на стул. Тот сел, положил правую руку на угол стола и некоторое время помолчал, будто собираясь с мыслями.

— В субботу на разборе вы сделали мне ряд замечаний. Справедливость их не беру под сомнение. Не имею

привычки. Но мне показалось, что некоторые из них вызваны были не столько допущенными мною на учении промахами, сколько... моими встречами с женой вашего бывшего заместителя.

Горин позвонил. В дверях показался адъютант.

— Павла Самойловича.

Вошел Знобин. Они встретились взглядами, и Знобин понял, зачем его вызвал комдив. Когда замполит сел напротив Аркадьева, чтобы удобнее было вести прямой разговор, Горин сухо заметил:

— На разборе вы получили то, что заслужили. Встречи с Любовью Андреевной одобрять тоже не собираюсь: она — жена офицера, который несет нелегкую службу вдали от Родины.

— В наших встречах я не вижу ничего предосудительного, — с наигранным удивлением ответил Аркадьев. — Мы старые знакомые и, естественно, не можем избегать друг друга.

За долгие годы службы Знобину много раз приходилось вести крутые разговоры. Самые трудные получались с теми, у кого недостатки зашли слишком далеко. Заставить таких признать ошибку, ложь в чем-нибудь стоило много нервов.

Первые ответы Аркадьева предвещали именно такой разговор. Геннадий Васильевич не хотел признавать очевидное и, вероятно, не признает, пока не будет прижат к стене. Поэтому Знобин в упор спросил его о том, от чего ему очень трудно было отказаться.

— Тогда скажите, что она вам сказала вчера, у вас на квартире?

Ошеломленный, Аркадьев с минуту смотрел на сжатые губы Павла Самойловича и только потом невнятно ответил:

— Она сама ко мне зашла...

— Знаю.

Аркадьев прикрыл ресницами глаза и ясно увидел насмешливо-злой взгляд Любови Андреевны, ее высоко закинутую голову и не смог сказать так, как хотелось, чтобы комдив и Знобин не догадались, какие обидные слова она кинула ему после короткого разговора, в котором объявила ему, что готова идти за ним хоть на Чукотку, а он, хмельной и растерзанный, попятился, отступился и, в сущности, испугался ее дерзкой любви.

— Собственно, не она, а я ей сказал, какие могут быть между нами отношения.

— Ясно, — понимающе перевел Знобин взгляд на Горина, который задал свой вопрос:

— Почему не были вчера в полку?

— Воскресенье — выходной...

— И это ответ командира...

— Не хотелось говорить все... Я был болен, — попытался поправить свой неудачный ответ Аркадьев. — И сегодня еще плохо себя чувствую. Это может подтвердить врач.

— Какой диагноз он вам поставил?

— Катар желудка...

Горин отвернулся, удивленный и возмущенный ложью Аркадьева. Недавно звонил ему врач и сообщил, отчего действительно у Аркадьева разболелся желудок.

— В чем причина заболевания? — спросил со злой усмешкой Знобин.

— Съел что-то нехорошее.

— Так ли?

По выражению глаз командира дивизии и замполита Аркадьев догадался, что им известно, о чем говорил с ним врач. Вспылив, он заговорил убежденно и напористо:

— Диагноз, который хотел приписать мне врач, — чистейшая чепуха! Так сказал я врачу, повторяю вам!

— Спокойнее можно? — упрекнул Знобин. — Главный терапевт — не вчерашний студент, хорошо знает цену своего слова. Кроме катара он заметил у вас кое-что еще: повышенное давление, шалости в сердце, не слишком спокойные руки... А вам всего сорок. Война вас не калечила.

— Удивительное внимание к подчиненному.

— Хотите сказать, подозрительное? Желаете, можно собрать консилиум врачей. Сейчас же.

— Коллеги другой не поставят, — буркнул Геннадий Васильевич, но, подумав, что о вчерашнем его дне им известно многое, счел за лучшее кое в чем сознаться: — Шалости сердца и руки... это вчера выпил немного. Устал на учении, неприятности на работе, полк сдал хуже, чем рассчитывал. Бывает. С каждым человеком. Но приписывать мне увлечение...

— Полк в беде, растерян, а командир находит утешение в рюмке, — с приглушенным возмущением проговорил Горин.

— В одиночку, — добавил Знобин, отчего Аркадьев снова вспылил:

— Что вы этим хотите сказать?

— То же самое, что и врач: выпивки в одиночку — начало опасного опустошения.

— Это... это черт знает что, оскорбление!

— Успокойтесь! — предупредил Горин с той твердостью, в которой Аркадьев уловил сгущение беспощадности. Не сдержись, и она обрушится всей тяжестью предоставленных комдиву прав. Чтобы не дать вырваться новым опрометчивым оправданиям, командир полка вздрагивающими ноздрями потянул в себя воздух.

Заметив перемену в Аркадьеве, Знобин попытался расположить его к откровенному разговору.

— Постарайтесь понять, точный диагноз нужен не столько нам, сколько вам, Геннадий Васильевич. Мы можем подождать. Но болезни ваши застареют. А они не только физические. Я заглянул в вашу читательскую книжку. За несколько месяцев ни одной философской, научной книжки. И беллетристика скорее для Ларисы Константиновны — записи последних недель...

Аркадьеву показалось, что его просто хотят поймать на откровенности и затем разделаться, как с мальчишкой. И он отчаянно запротестовал:

— Ни через год, ни через два со мной ничего не произойдет! Совершенно!

— Удивительно! — приподнял Знобин плечи. — Человеку хотят помочь, а он отбивается. Для взрослого, образованного человека — это уже психическое отклонение.

— Психика, воля у меня не слабее вашей, Павел Самойлович, — огрызнулся Аркадьев.

— Ну, ладно. Ответьте еще на несколько вопросов, — сказал с последней надеждой Знобин. — Почему так долго к вам не приезжала жена?

— У меня больная дочь! — вздрогнув, отрубил Аркадьев.

— С бабушкой, в душной летней Москве сейчас ей не лучше, чем было бы здесь.

— Она в лагере.

— Уже нет. Вернулась, но не к отцу.

— Приедет в ближайшие дни.

— А что вы скажете, если не дочь приедет к вам, а жена уедет к ней? И возможно, навсегда.

Аркадьев испугался и самого вопроса, а еще больше — решения жены уехать в Москву, которое вчера он посчитал очередной, неисполнимой угрозой. Раз сказала о ней Знобину, наверное, собралась уезжать по-настоящему. Но и теперь ему сдаваться не хотелось.

— Да... Даже капризы жены пустили против меня в ход.

— Уверяю вас, не капризы. Но пока она не уедет. Я попросил ее повременить. Вы должны оценить ее терпение.

Аркадьев представил, что может сделать Лариса (сначала уехать, а потом сойтись с Сердичем и вернуться сюда на его позор и унижение), и ему стало страшно. Как он будет здесь жить? Как будет смотреть людям в лицо, командовать полком? Представил себя одного, без Ларисы, и показался тусклым, мало что значащим человеком.

Из оцепенения его вывел спокойный и, кажется, сочувствующий голос Знобина.

— Может быть, Геннадий Васильевич, заново поведем разговор?

Аркадьев недоверчиво приподнял голову, неловко повернул ее к Знобину, затем к Горину. Нет, вроде действительно хотят помочь. Но как сказать «да», если минуту назад все отрицал начисто.

И снова участливый голос замполита:

— Спросите самого себя, Геннадий Васильевич, от чего именно к вам прицепилось столько бед?

— Не во всех виноват я. С Ларисой, женой, разладилось давно. Из-за этого... подумалось, не лучше ли будет с Любой. Неприятности по службе... не знаю от чего.

— А если откровенно? — спросил Горин. — Или опасаетесь, обижусь? Если бы у меня было желание за что-то ущемить вас, я бы не вел с вами долгих разговоров.

— Мне казалось, вы остались недовольны тем, что я арестовал... старшего лейтенанта Светланова, — более уверенно заговорил Аркадьев.

— За арест не упрекал и не упрекну. Но за вчерашние угрозы старшему лейтенанту вы сами заслуживаете немалого наказания.

— Он же подвел полк...

— Подвел ли? В бою он принес бы вам успех, а вы его опять ударили с размаху. Могли сломать, убить в нем все доброе, веру в лучшее.

— Сорвалось.

— Нет. Это ваш стиль, вспомните, как вы обращаетесь со своим начальником штаба? Похоже, для вас он мальчишка. Немногим лучше и с замполитом.

— Видимо, характер сбивает.

— Он всегда у вас был такой?

— Вроде нет.

— Выходит, причина в другом. — Повременив, не скажет ли что Аркадьев, Знобин продолжал: — Много ли раз вы задумывались и сверяли свои поступки со смыслом слов «товарищ командир»?

— Он ясен сам собой.

— Тогда откуда же у вас кавалергардское отношение к подчиненным?

— Офицерами нас назвали, видимо, и потому, чтобы мы кое-что восприняли от кавалергардов.

— К примеру?

— Умение с достоинством держаться, красиво выглядеть...

— В общем аристократический лоск?

— Красивый внешний вид — признак воинской культуры и хорошей дисциплины.

— К сожалению, не всегда. Бывает красота — всего лишь позолота, а что под ней — с душком. И в вас, не обижайтесь, он завелся: поспешно разбрасываете взыскания, забываете обязанности командира, товарища командира. А ради слова «товарищ» люди шли в революцию. Вот вы и потеряли уважение у сослуживцев, подчиненных, жены, а возможно, и Любы. Без уважения люди не будут вам верить, в трудном бою могут не выдержать. А война сурова, временами беспощадна, поверьте нам, фронтовикам...

Аркадьев надолго задумался. Горин спросил его, когда он глубоко вздохнул:

— Что ответите?

— Не знаю. Не уверен, смогу ли измениться, тем более без Ларисы...

— Если твердо решите, я поговорю с ней, — Знобин с надеждой подался к Аркадьеву.

— Тяжело. Иным даже представить себя не могу.

— Торопить не будем, но меняться надо обязательно: как прежде, жить нельзя, — закончил разговор командир дивизии.

Аркадьев ушел.

— Ну как, поправится? — спросил Знобин.

— Будем надеяться.

— Может быть, предупредите Сердича?

— Хорошо.

Когда Сердич вошел, Горин стоял у открытого настежь окна и, видимо, не слышал стука в дверь. Он уже обдумал, что скажет Сердичу, но в чем-то его сдерживали ростки, которые дало прежнее чувство к Ларисе Константиновне. Давать им расти, понимал он, — мучить семью и себя. Изменить свою жизнь, в его представлении, было бы вероломством по отношению к жене, которая ни в чем не виновата, сыну, дочери и всем тем, кто знал и верил в его порядочность и человечность. К тому же он уже не мог даже представить свою жизнь без Милы и сына, а Лариса Константиновна, как ни тянуло временами к ней, оставалась ему чужой. И все же вот так сразу он не мог подавить в себе ожившее. Хотелось поговорить и выяснить, от чего у них тогда с Ларисой Константиновной все разладилось и как им теперь держаться, пока будут жить в одном городке.

Сердич кашлянул.

— Меня попросил зайти к вам Знобин.

— Я тоже. — Горин повернулся к Сердичу. — Садитесь, Георгий Иванович.

И снова умолк.

— Минут десять назад мы закончили нелегкий разговор с Аркадьевым. О его службе, семье. У меня к вам просьба: прервите на время ваши встречи с Ларисой Константиновной. Когда семейный разлад у них пройдет, думаю, ваши занятия с Ларисой Константиновной пением не будут вызывать у Аркадьева обиды на вас.

— Понял вас, Михаил Сергеевич. А если...

— Тогда ни о чем вас просить не буду.

Горин умолк. Ему показалось, что по голосу Сердич догадался о его переживаниях. Это грозило разрушить доверительные отношения, а именно они для Горина были особенно дороги. Ибо, в сущности, прелесть жизни, считал он, особенно людей в годах, не в том, на какой служебный этаж забросят их обстоятельства, а в дружеских отношениях, помогающих обогатить ум, чувства, набраться сил и желания работать. А с Сердичем они быстро крепли, обещали быть добрыми. Вздохнув, Горин сказал:

— Есть дело. Вы и я садимся на полк Аркадьева. И забудем пока все личное. Берите на себя заботы о втором батальоне — командир его на сборах в академии. Надо ему помочь, чтобы было минимум «хорошо». Согласны?

— Да, товарищ полковник.

20

Без пятнадцати шесть Горин вошел в казарму танкового подразделения полка Аркадьева. В глаза бросились идеальная чистота в коридорах, недавно побеленные стены солдатских комнат, строй сапог у коек. Во всем чувствовалось установленное сильной рукой единообразие, которое не смог нарушить даже сон солдат. Быть может, в этом и есть командирский почерк Аркадьева?

Думая об этом, Горин услышал шепот дежурного, предупреждавшего сержантов: «Комдив, комдив». Сержанты тут же вскакивали, торопливо натягивали брюки и, едва обернув ноги портянками, вгоняли их в сапоги. Когда подошло время, сержанты набрали полные легкие воздуха, хотя им нужно было произнести всего лишь одно слово «подъем». Они хотели это сделать так, чтобы в одно мгновение взметнуть всю казарму. Комдив не любил крика, однако не стал удерживать сержантов. «Пусть поступят привычно, — подумал он, — легче будет втолковать, что хорошо, что плохо». И когда дежурный махнул рукой, казарму потряс раскат человеческих голосов. Подобно порыву сильного ветра он сдул теплые солдатские сны. Казарма забурлила, а увидев комдива, солдаты еще больше заторопились, желая показать свою расторопность.

Минута в минуту закончилась физзарядка, и когда солдаты, заправив постели, направились умываться, комдив собрал сержантов. Голые по пояс, упитанные, мускулистые, они выстроились в коридоре.

— Один к вам вопрос, — начал Горин, привычно закинув руки за спину. — Когда вы сами были солдатами и курсантами, вам нравился вот такой оглушительный утренний крик?

Сержанты, поняв, что их требовательность со стороны выглядела глуповатой, молчали. Лишь один попробовал оправдаться:

— Этому нас научили старшины, а их еще кто-то повыше. Выходит, что так нужно.

Горин уловил иронию в голосе сержанта и, усмехнувшись, ответил:

— Как ржавое ружье: стрелять из него можно, но поразишь им скорее себя... Быть требовательным — это в первую очередь вовремя сказать подчиненному правду и, если нужно, заставить его покориться этой правде. На фронте крикуны были во всех рангах, но среди сержантов их было меньше всего. Причина простая: на их долю приходилась равная с солдатами мера опасности. Это сближало, завязывало дружбу. А на друзей не кричат во все горло. Поняли?

— Поняли. Только измениться сразу...

— Трудно? Согласен, но так вернее. Только смотрите не переусердствуйте, не станьте няньками.

Сержанты ушли немного смущенные, но довольные: комдив сказал правду, и от нее действительно стало как-то легче и свободнее. Некоторые солдаты, услышав, что комдив «всыпал» полководцам мелких подразделений, стали проходить мимо него с ухмылкой. Горин догадался в чем дело и остановил одного солдата. Сразу задержался десяток. Любопытные лица показались и в дверях.

— Что ж, подходите все. Одному-то ему, видать, страшно, от робости даже кожа стала гусиной.

Когда солдаты приблизились, он разъяснил:

— Остановил вашего товарища за ехидную улыбочку. Он, видите ли, рад, что я, командир дивизии, сделал нагоняй его непосредственному начальнику. Но никакого нагоняя не было. Я просто посоветовал сержантам, что нужно делать, чтобы для вас, — он обратился к располневшему солдату, — старшине не пришлось преждевременно добывать на складе ремень подлиннее. А у вас, — показал он на солдата с тонкой шеей, — чтобы не столь модной была «скобочка». А у вас, водитель, почище руки...

— Машину вчера чистил, товарищ полковник.

— Вчера, днем. А сейчас? Утро нового дня, начинать который со старой грязью молодому, красивому должно быть стыдно.

— Шоферская привычка, — покраснел тот.

— Дурная.

Солдаты забеспокоились, стали косить глаза на свою

одежду, руки — получить от командира дивизии замечание не хотелось.

— Все, товарищи. Вас ждут ваши командиры. Подробнее поговорим на комсомольском собрании. Красиво кто-то написал объявление.

— Наш Муравей-Королев.

— У кого это такая артистическая фамилия?

Солдаты расступились, и Горин увидел своего знакомого.

— Он? Насколько я знаю, он просто Муравьев.

— Королева мы ему добавили. Изобретает и после армии мечтает поступить в Бауманское, чтобы со временем стать конструктором.

— А может быть, лучше в ракетно-артиллерийское? К службе уж не привыкать.

— Разрешите подумать? — попросил уклончиво Муравьев.

— Ваше право.

Вскоре в казарму стали прибывать офицеры. Видимо, они спешили: некоторые были плохо выбриты, с косо застегнутыми галстуками, с недочищенной обувью. Комдив не стал делать замечаний. Для него важно было, чтобы они сами увидели свои промахи и сами же их устранили.

Горин пригласил к столу командира подразделения, спокойного, несколько медлительного майора.

— Как решили устранять недостатки, вскрытые комиссией корпуса?

— План еще не совсем готов, товарищ полковник, но...

— Был бы он в голове...

— Имеется, — майор подал записную книжку и пояснил: — Вчера вечером командиры рот получили задание на сегодняшний день, к обеду дам на всю неделю.

Горин просмотрел несколько листков, исписанных и не раз перечеркнутых рукой майора. Его «задумки», их было шесть, понравились комдиву. Недоставало одной, и Горин заметил:

— Если выполните все, что задумали, солдаты и сержанты экзамен сдадут неплохо. А вот офицеры... сомневаюсь. Каждый день, с утра до позднего вечера, по вашим наметкам, они должны быть с подразделениями. Но им-то тоже нужно готовиться, кое-что вспомнить, повторить, потренироваться. Они ведь будут начинать. Получат

«плохо», трудно ждать высокого результата от подчиненных. Согласны?

— Пожалуй.

— Решим так: выделяйте на занятия с подразделениями строго необходимое количество офицеров. Для остальных в эти часы — организованная самоподготовка. Возглавьте ее сами или поручите своему заместителю. Подумайте, какая помощь нужна от меня. Вечером буду у вас на комсомольском собрании.

Горин пробыл в подразделении весь день. Побеседовал со многими солдатами, исписал в записной книжке немало листов — факты, примеры, обобщения. Тех, с кем говорил, обступали товарищи, расспрашивали. С каждым часом нарастал интерес к тому, что делал командир дивизии в подразделении.

На собрание комсомольцы шли с ожиданием каких-то перемен.

Первая обнаружилась еще перед собранием: комдив попросил всех командиров некомсомольцев заниматься служебными делами. Вторая — в начале собрания: когда избрали президиум, он отвел себя — хватит там и одного коммуниста, подполковника Желтикова. А во время собрания подсел к солдату, на котором докладчик, секретарь бюро комсомольской организации батальона, испытывал острие своей критики.

После доклада наступила неловкая пауза. Как это иногда бывает, никто не решался высказаться первым в присутствии большого начальства. Председатель вынужден был объявить перерыв.

Горин вышел вместе со своим соседом, солдатом Губановым.

— Вас вроде не слишком укололи критические стрелы докладчика?

Солдат молча пожал узкими плечами.

— Не больно или нет охоты отвечать? — спросил Горин суше.

— Нет, почему же? Если бы я был хорошим, о чем бы тогда говорили на собраниях? —с ухмылкой ответил солдат.

— О любви, например, а не об элементарной дисциплинированности...

Губанов понял, что полковнику не нравится его поведение. Не измени тон, он может не только словами на-

помнить о различии их положения. Но все же ответил, как человек, хорошо понимающий жизнь.

— Любовь — в книгах, в жизни — проще...

— Как это?

— Не думаю, что вы не знаете этого.

— Как вам сказать... Видимо, в таких делах я знаю меньше вас, хотя и в два раза старше. В ваши годы я воевал. Потом учился. Довелось и любить. Что было дурного во мне, старался избавиться.

— Вы командир... вам положено.

Горина начинала злить вольность солдата, его взгляд заострился. Но одергивать Губанова он воздержался, чтобы не смущать и без того не слишком бойких комсомольцев.

— Судя по докладу и отношению к вам ваших же товарищей, вы не особенно им по душе. Почему?

— Люблю ходить по лезвию.

— Оно острое, можно порезаться.

— Ну что ж, заживет, — со снисходительной самоуверенностью ответил солдат, будто действительно уже не раз ходил по лезвию и расплачивался за это. Получалось, он хорошо понимал, что делает, и бравировал опасностью. Это заинтересовало Горина.

— Кто ваши родители?

— Отец, быть может, был бы таким, как вы, или генералом. Мама, она врач, говорит, что он был храбрым и умер от ран месяц спустя после моего рождения.

Горина возмутил небрежный, даже несколько иронический отзыв солдата об отце и матери.

— Вы что же, не верите, что на войне люди получали смертельные раны?

— Верю. Только почему он не оставил мне своего отчества?

— Видимо, не думал умирать. И все же вы получили его отчество?

— Да.

— Так почему же вы, взрослый человек, комсомолец, так долго таите обиду?

Губанов не смог ответить, и на его лице снова появилась защитная ухмылка.

— В комсомол вы вступили по своему желанию?

В случае утвердительного ответа Горин намеревался спросить строго: почему же не выполняете устав? Но Губанов ответил не то:

— Уговорили.

— А вам хочется быть комсомольцем?

— Мне нравится забота обо мне, — уклонился солдат от ответа.

Горин и Губанов вернулись в ленинскую комнату, когда Желтиков говорил о чем-то с двумя комсомольцами и молодым замполитом роты. Завидев комдива, он поспешно умолк и подошел к нему.

— Перерыв еще не кончился, товарищ полковник.

— А я вот хочу уговорить выступить раскритикованного.

Слова полковника Желтиков воспринял как упрек и попытался оправдаться:

— Комсомольцы, видимо, вас немного стесняются. Обычно в ротах собрания проходят по-боевому.

Желтиков попытался все это сказать живо, но получилось сбивчиво, с запинкой, и он покраснел так, что краснота забралась к самому темени, прикрытому редкими волосами.

— Стесняться делать хорошее — солдату не к лицу. Привыкнет робеть перед начальством — может побежать от врага.

— С другой стороны, товарищ полковник, робость — признак скромности, — осторожно возразил Желтиков.

— Но только ли потому молчат комсомольцы? У моего соседа, например, и робости, и скромности совсем немного, а вот тоже молчит.

Замполит с немым упреком посмотрел на Губанова. На лице солдата мелькнула тень вины, но ее тут же смыла привычная ухмылка.

Собрание возобновилось. Прения набирали темп медленно. Первые говорили вяло, последний — с каким-то заведенным воодушевлением. Желтиков облегченно вздохнул, а Горину стало досадно. Комсомольцы не обсуждали вопрос, а рапортовали ему, командиру дивизии, об успехах, и рапортовали, как заправские администраторы, решившие любыми средствами получить солидную премию.

Горин нетерпеливо встал:

— Если можно, прошу одну минуту вне очереди... По порядку ведения собрания...

Получив слово, Горин живо повернулся к только что сошедшему с трибуны и, поглядывая на других, чтобы

поняли — грешен не только оратор, — заговорил с насмешливой укоризной.

— Зачем вы говорите мне, какие вы хорошие? Я пробыл у вас весь день и многое узнал сам. И не только хорошее, но и то, о чем вы почему-то стараетесь не говорить... Как это называется, надеюсь, знаете. Или назвать? В общем, занятие это неблаговидное, особенно для комсомольцев. Прошу всех подумать о моем замечании и больше никогда не выступать так, как выступали до этого. Больше смелости и заинтересованности в делах подразделения!

Для Желтикова замечание командира дивизии было той грозой, которую он ждал весь день. Минуту назад ему еще казалось, что она миновала, и вдруг командир дивизии сказал почти дословно то же самое, что во время перерыва говорил ему молодой замполит роты: никаких соотношений между благополучными и критическими выступлениями устанавливать искусственно нельзя... Комсомольское собрание — не международный конгресс дипломатов. Есть плохое в жизни взвода, роты — режь, жги его, независимо от того, плохо ли, хорошо ли будет думать о тебе начальство.

Когда замполит роты нетерпеливо, частым шагом, пошел к трибуне, Желтикову показалось, что он побежал, побежал для того, чтобы сказать, почему вот так благополучно рапортуют на собрании комсомольцы. Но, став у стола, замполит положил на него ладонь, вскинул голову, в упор посмотрел на Горина, будто желая определить, сумеет ли старший товарищ остаться таким же, благожелательным и принципиальным, если ему прямо сказать то, о чем он сам просил только что. В выступлении и во взгляде Горина он не заметил какого-либо предупреждения об осторожности, и потому начал без оглядки, остро.

— Видимо, я не покажусь хвастуном, если скажу: водить машины, стрелять мы умеем, бить врага тоже сумеем. Получается: свои обязанности мы выполняем и беспокоиться нам не о чем. Но так ли все у нас хорошо? А какова у нас дисциплина? Почему она плохая у рядового второго года службы Губанова, который сидит рядом с вами, товарищ полковник? Вот он опять ухмыляется, а у меня и командира роты руки уже отбиты. Все испробовали, что нам дозволено, а он, каким был, таким и остался. Ему скучно служить, а мы его даже из комсомола

не можем выгнать. Говорят: кто же его будет воспитывать, как не коллектив!

Когда человек стал крыловским котом, нужны другие меры воспитания. Они определены в присяге и в уставах. Почему же, когда мы их начинаем применять, мы, офицеры, становимся в глазах некоторых плохими?

Собрание молчало. Долго, пока лейтенант не сел на свое место. Все смотрели на Горина, ждали ответа или хотя бы малейшего движения его бровей или губ, по которому можно было бы определить, как он отнесся к сказанному замполитом.

Горин понял, он должен дать ответ на это выступление и дать немедленно, иначе больше не найдется желающих говорить. Поднял руку, подошел к столу, так же, как молодой замполит, положил тонкую ладонь на стол.

— Вы ждете от меня ответа на вопрос лейтенанта. Задал он один, но, думаю, их у него больше. И пора уже вам самим ответить, почему у вас в подразделении так много этих самых «почему».

Рядовой Губанов. Что с ним делать? Уговаривать дальше — он будет только посмеиваться над всеми нами. Не лучше ли сейчас же решить вопрос о нем? Если и после этого он не одумается, тогда придется исправлять его строгими статьями закона.

Будто подстреленный неожиданным выстрелом, Губанов выпрямился, глотнул воздух и начал медленно сгибаться: «А разговаривал мягко, как добрый дядя. На войне, наверное, вздохнет, но не помилует за проказы...»

После выступления Горина снова наступила пауза, только в ней уже чувствовалось нетерпение, желание действовать. Губанов всем давно надоел, от него хотели избавиться, но как это сделать, если такого вопроса не было в повестке дня и вообще давно уже никого не исключали из комсомола. Председатель глазами побежал по рядам, отыскивая желающего высказаться, и когда его повеселевший взгляд остановился на ком-то, все повернулись к последнему ряду. Из него вышел Муравьев. Первые шаги его были мелкими, стеснительными. Когда же взошел на трибуну, вес зал замер: Муравей скажет за всех и что надо.

Солдат повременил, видимо, сжал до предела все, что хотел сказать, и заговорил с тем убеждением, которое вы-

сказывается очень редко, когда молчание — равносильно трусости, отказу в помощи в самый нужный момент.

— Когда партия большевиков в семнадцатом году вышла из подполья, в ней насчитывалось всего двадцать четыре тысячи человек. Приблизительно это одна шеститысячная часть населения России. И все же она повела страну к революции и вместе с ней совершила ее.

Сила организации не в количестве, а в качестве ее членов.

Думаю, наше влияние в батальоне возрастет, если комсомольская организация уменьшится на одну единицу. Предлагаю исключить Губанова из комсомола.

Две сотни глаз устремились на Губанова. Словно загипнотизированный, он стал медленно подниматься со скамейки, еще не веря, что сейчас будет решена его судьба. Вскинул глаза на Муравьева: «А казался тихоней, веревки крути».

С собрания Горин пошел в штаб дивизии. В кабинете Сердича кроме хозяина уже сидели Знобин, Амирджанов и другие офицеры. Сердич доложил обобщенные данные о ходе подготовки к инспекции, Знобин — о полку Берчука, где он находился весь день, Амирджанов — об артиллеристах... И по тому, что услышал от подчиненных, и по их настроению Горин утвердился в своем выводе: к инспекции люди готовятся напряженно.

— Что ж, направление вроде взяли верное. Остается не сбиться с него. Но всем нам нужно больше внимания обратить на подготовку офицеров и на деловитость собраний, — заключил Горин и рассказал о комсомольском собрании в танковом подразделении, о своем новом знакомом — солдате Губанове, о том, как его в свое время дружно вовлекали в комсомол и как не менее дружно сегодня вышвырнули оттуда. — Нам надо точно определить, где должна проходить граница между убеждением и наказанием, в том числе и самым суровым. Некоторые из нас совсем забыли спрашивать так, как требует присяга.

Домой Горин шел вместе со своим замполитом. На небе уже вовсю разыгрались звезды. Из городского сада медь духового оркестра накатывала «Амурские волны». Знобин втянул свежий прохладный воздух.

— Хорошо.

— Хорошо, — согласился Горин.

— Было бы еще лучше, если бы сейчас не было нужды идти к Желтикову.

— Зачем?

— Уверен, все еще сидит в кабинете и мучается — не так прошло комсомольское собрание.

— Да. Какой-то он... — не договорил Горин, вспомнив растерянность замполита полка, когда комсомольское собрание круто обрушилось на Губанова и вышвырнуло его из комсомола.

— Не боевой, согласен: долго бегал в инструкторах, рассылал руководящие бумажки. А пришел к людям — не знает, как жить и руководить ими. Что-то с ним нужно делать.

— Может быть, дать возможность покомандовать батальоном? — спросил Горин и тут же добавил, заметив, как недоверчиво отнесся к предложению Знобин: — Только на учении, конечно.

— Мысль.

Знобин тут же попрощался и направился в штаб полка. Он был уверен — Желтиков еще там. И не ошибся. Подполковник сидел в кабинете. На столе были разостланы планы. Он неподвижно смотрел на них, думал о чем-то горьком. Увидев Знобина, торопливо встал, но с места не двинулся. Знобин положил ему на плечо руку.

— Причину неудач ищешь в бумагах? — спросил как можно доброжелательнее и, не получив ответа, заметил: — Бумаги мы научились творить. Что ни лист — победный гимн. А вот спеть его, чтоб душа солдата метнулась на подвиг, к хорошему делу, добру, умеют не все и не всегда . Не обессудь, Федор Иванович, что начинаю не с утешений.

Ничего неприятного еще не было высказано, а Желтиков сжался, как схваченный морозом осенний лист. Полковник дал Желтикову время немного оправиться и продолжал, стараясь подбодрить подчиненного:

— Подними голову, Федор Иванович. Выше, еще выше. Вот так. Надо учиться смотреть неприятностям в глаза. Только тогда они побегут от тебя.

И снова пауза, чтоб коллега спокойнее проглотил новую ложечку неприятного лекарства.

— Сядем. Скажи, хорошо или плохо поступил на собрании командир дивизии? — спросил Знобин, непри-

нужденно закинув левую руку за спинку стула, а правой подперев голову.

— Судить не мне...

— Судить о старших, тем более за углами, в армии действительно не положено. Но оценивать их поступки, для себя, — нужно. Иначе никогда не будешь иметь собственного мнения. — Знобин сбился с взятого тона и от досады весь подался к Желтикову, обе руки положил на стол. Добавил извинительно: — Политработник без своего мнения — флаг без древка.

— Все произошло как-то неожиданно... Возможно, Губанова исключили из комсомола правильно. Только в каком положении оказался я — исключение Губанова из комсомола ведь не намечалось.

— А в каком положении оказался бы Горин, командир дивизии, если бы в этой неожиданной и для него ситуации он не дал ясного и твердого ответа? По меньшей мере, в незавидном. Но главное даже не в этом. В сложившейся на собрании ситуации Михаилу Сергеевичу нужно было немедленно повлиять на Губанова, если хотите, ошеломить его, чтобы солдат понял, насколько опасно его положение. Достиг комдив этой цели? Да. Поверили комсомольцы, что Губанов не так уж смел, как бахвалится, что его можно скрутить в бараний рог и заставить шагать в ногу с ротой, если взяться дружно? Да. Прибавилось у них уверенности в свои силы, смелее они выйдут на инспекцию? Еще раз да. Вот, учитывая все это, и надо оценивать поведение командира дивизии на собрании.

— Думаете, Губанов завтра же станет другим?

— Завтра, послезавтра, неделю, две будет думать, присматриваться. Позже — может стать и лучше и хуже. Все будет зависеть от того, удастся ли нам найти удачное продолжение начатого с ним сурового разговора. Пока же присмотрите за ним сами и посоветуйте кое-кому еще, да так, чтобы это не было для него тягостно, но и чтобы он постоянно чувствовал ваш глаз. Месяц одного не пускать в город, не дать ему возможности случайно оступиться. После инспекции с ним поговорю я.

Знобин снова принял свободную позу, закурил, и Желтиков подумал, что продолжение разговора, вероятно, будет о его споре с замполитом роты. От стыда голова его как-то провалилась между плеч, спина ссутулилась, глаза уткнулись в стол. Но Знобин спросил о другом.

— Расскажите о ваших взаимоотношениях с командиром полка.

Поколебавшись, Желтиков сознался:

— Он со мной не очень считается.

— Почему?

— Командирское высокомерие.

— А вашей вины в этом нет?

— Не могу же я требовать к себе особого отношения.

— Требовать — глупо. Но поставить себя так, чтоб командир считался с вами, — обязаны. Иначе как заместитель по политической части вы погибли. Замполиту, Федор Иванович, надо уметь быть и подчиненным, а когда надо — и равным, равным в ответственности перед партией. Равным, когда командир начинает сбиваться с пути, определенного нашими писаными и неписаными нормами поведения.

— С Аркадьевым так у меня не получается.

— Надо, Федор Иванович! И чем раньше, тем лучше. Надо делом доказать, что вы не хуже его, и если нужно будет, сумеете заменить его и повести полк в бой.

— Теоретически я могу...

— За практикой дело не станет. Командир дивизии предлагает вам на предстоящем учении покомандовать батальоном... На следующем — полком, — добавил Знобин, увидев, как болезненно взрогнуло лицо Желтикова. — Для обретения уверенности. Именно ее вам недостает. Договорились? Хорошо. И маленькое предупреждение. Комдив и я недавно разговаривали с Аркадьевым. Крупно и резко. Дал слово меняться. Поэтому, Федор Иванович, в ближайшие месяц-два никаких обострений, предельная предупредительность и внимание. Помогайте ему меняться и ищите с ним верные партийные отношения. Понятна задача? Тогда немедленно идите домой. Иначе жена ваша скоро придет ко мне с жалобой — забыл семью.

В тот день, когда генерал Амбаровский ждал инспекцию, в его штаб пришла лишь телеграмма: машины подать на аэродром в Дальний, в воскресенье утром.

Амбаровский обрадовался: личное уведомление о времени приезда обещало по меньшей мере не слишком строгое отношение к нему Лукина, а войска получали дополнительно почти неделю для того, чтобы подчистить кое-какие хвосты. И еще одна догадка порадовала генерала: раз инспекция приезжает не внезапно, сбора по тревоге,

вероятнее всего, не будет, и потому можно будет избежать тех досадных ошибок, которые обычно портят у проверяющих первое, очень важное для общей оценки, впечатление.

Но инспектирование началось иначе. Сигнал сбора по боевой тревоге пришел из штаба округа за три дня до приезда Лукина. В тот же час невесть откуда в войсках объявились представители Москвы. Предъявили документы — прибыли оказать помощь в быстрейшем сборе и пополнении войск, задача которых совершить форсированный марш и быть готовыми, в случае необходимости, пресечь крупную военную провокацию противника.

Горин хорошо знал о многих провокациях на границе, крикливых, задиристых и оскорбительных. В том положении, в котором находилась соседняя страна, казалось, начинать войну было равносильно потере здравого рассудка. Но провокации происходят. В июне сорок первого война Германии против нас кое-кому тоже казалась авантюрой. Итог войны хотя и подтверил это, но чего она нам стоила...

Лицо Горина сразу подернулось заботами, потвердело. Распоряжения стал отдавать коротко, сухо, исполнения требовал точного, без малейших отступлений от установленной последовательности сбора по тревоге. Именно точность создавала ту нетороопливую синхронность в действиях частей дивизии, которая в конечном итоге позволила и в район сосредоточения, и на станции погрузки, и к первым рубежам регулирования выйти в установленные сроки и по-воински собранно.

В середине дня в дивизию прибыл генерал-инспектор, высокий и прямой как старый пирамидальный тополь. Сделав смотр войскам, он скупо улыбнулся правым углом рта и вручил Горину второй приказ: в нем дивизии предписывалось круто повернуть на юг, выйти в свой лагерь, где и будет проведена проверка.

21

На аэродроме добродушный, круглый и подвижный, как колобок, генерал армии Лукин выкатился из салона самолета, приветливо протянул Амбаровскому обе руки и ласково похлопал его по плечу. Однако от завтрака отказался: лучше покажи свои войска, каковы они, а значит, каков и ты, без пяти минут большой командир.

Амбаровский на секунду задумался. Быстрее и собраннее других вышла в лагерь по тревоге дивизия Горина. Туда он и повез генерала.

В дивизии Лукина встретили генерал-инспектор и Горин. Не доехав до встречающих метров пятидесяти, Лукин вышел из машины и, как-то весь преобразившись, пошел на них коротким грозным шагом. Ни во время доклада генерал-инспектора, ни тогда, когда пожимал ему и Горину руки, лицо генерала не посветлело. Лишь когда узнал предварительные итоги проверки, которые оказались не то что сносными, а близкими к хорошим, смягчился, но не настолько, чтобы это могли заметить те, к кому он приехал. По виду командир дивизии не был фигурой, в которую уверуешь с первого взгляда — щупл, мягок. Чтобы убедиться, что его мнение более верно, чем мнение Степана Петровича, который хотя и строгий инспектор, но со слабинкой — любит деликатных, — Лукин круто и как-то вдруг повернулся к Горину. Его цепкие глаза, будто пальцы дотошного, знающего себе цену мужика, целиком и по частям ощупали Михаила Сергеевича, ощупали безжалостно, не считаясь с тем, приятно это человеку или нет — «раз ты мне нужен, для тебя это хорошо. Так что, терпи. Я должен быть уверен, что в тебе нет порчи».

Видимо, Лукин действительно не нашел в Горине изъяна и потому сразу же заметно подобрел. А искал он в командире дивизии следы болезни, нередко забирающейся в офицера, служба которого перевалила за двадцать пять лет. Эта болезнь — успокоенность. От долгой службы человеку иногда кажется, что все уже познано собственным горбом и на любой случай найдется правильное решение, поэтому можно не особенно утруждать себя заботами, чтобы не надсадить сердце. Такое благоразумие было бы не слишком опасно, если бы оно не перерождалось в лень — приятное самоубийство, как сказал один острослов.

— Везите меня в... худший полк, — обратился Лукин к Горину и, к своему удивлению, услышал спокойный и в то же время не лишенный укора вопрос:

— По чьей оценке худший, товарищ генерал армии?

Лукин озадаченно посмотрел на Горина. Выходило, у этого, с виду невзрачного офицера, свое мнение о том, какой полк хорош, какой плох, несмотря на то, что мнение старшего, генерала Амбаровского, вероятно, совсем иное.

— По оценке того, кто последним проверял вашу дивизию.

— Есть.

Дородность, сила, звучный голос Берчука приятно поразили генерала армии. С улыбкой пожав ему руку, добродушно упрекнул:

— Как же это вы, при такой мощи, попали в отстающие?

Берчук покраснел, скосил взгляд на Горина. Нет, комдив ни в чем не изменился, значит, не он сказал такое генералу; высокое начальство, видно, привел сюда для того, чтобы ты доказал обратное.

— Надеюсь, у вас будет иное мнение о моем полку!

— Поработал?

— Поработал, — с запинкой ответил Берчук, и Лукин понял, что дело не только в этом, а в чем-то и другом. В чем же? Но расспрашивать не стал — подготовка солдат покажет, кто прав и насколько, ибо солдаты — та нива, которую обработал командир: плохо вспахал, не вовремя посеял — ее забьют сорняки, урожай будет тощий, горький; позаботился, не поспал — солдат будет верить тебе, душу отдаст, чтоб не подвести тебя. За короткий срок бед не поправишь.

Полк сдавал физическую подготовку и стрельбу. Лукин приказал сначала провести его на стадион. Берчук указал дорогу и пошел рядом с Гориным вслед за генералами. Генералы изредка обменивались впечатлениями о стройных, загорелых соснах, полковники шли молча — им было не до красот природы. Остановились у турника — сюда шел очередной взвод. Строй развернулся фронтом к турнику, солдаты по команде повернули головы к генералу армии — старательно поднятые чуть вверх подбородки придавали их лицам уверенность и смелость. Доклад командира взвода тоже был не робкий. Все это отметил про себя генерал Лукин и поставил несколько плюсов в клеточки, которые он заводил в памяти для каждого, с кем приходилось близко встречаться.

Исполнение упражнений было похуже. Но Лукина все же радовало то, что солдаты старались изо всех сил делать все как можно лучше. А он-то хорошо знал по войне, насколько это старание было важным — оно побеждало страх в бою, подводило людей к подвигу, помогало совершить его. Подобрев, генерал подошел к солдатам.

— В общем неплохо. Но... в ваши годы надо быть хотя бы такими, как я... Чему улыбаетесь? Не сейчас, конечно. Сейчас и ног не задеру к перекладине, растолстел. А был... Вертел солнышко нисколько не хуже акробатов. Не верите?

Генерал достал из бумажника пожелтевшую фотографию, которую всегда возил с собой и любил показывать офицерам и солдатам. На ней он был запечатлен в момент соскока через перекладину — широкие плечи, узкая, будто перехваченная ремнем талия, сплетенные из мускулов руки. Солдаты с интересом и удивлением смотрели то на фотографию, то на генерала.

— Наверное, думаете, почему потолстел? Отчитаюсь. Когда началась война, мне было уже к сорока — возраст, в смысле обретения полноты, самый подходящий. Пока оборонялись, не толстел, начали наступать, жизнь пошла полегче, а разные комплексы делать было некогда, да и неловко. Такие, как вы, могли подумать: заботится о здоровье, а здесь жизни не жалеешь. Вот меня и понесло. Убедительно?

Солдаты заулыбались.

— Вот и хорошо. Теперь отчитывайтесь вы. Почему вы, товарищ рядовой, — обратился он к высокому солдату с длинным апатичным лицом, — только на троечку выполнили упражнение?

— Силы не наберу.

— Какой год служите?

— Последний.

— Последний?! — преувеличенно удивился генерал. — Да будь я вашим отцом, получили б вы у меня березовой каши. Вы должны быть как вьюн! Сколько комсомольцев во взводе?

— Все комсомольцы, — ответил лейтенант.

— И вы терпите такое?!

— Обсуждали. Солдат Кусманов отвечал: до конца службы далеко, успею. И не успел.

— А как же во время войны успевали готовиться к боям за два-три месяца?!

Солдаты озадаченно переглянулись.

— Не верите?

— Верим. Наверное, по сокращенной программе готовились.

— Бой экзаменовал только по полной. И отцы ваши

и даже деды сдавали экзамены как требовалось для победы. Так что вам, чтобы не выглядеть хуже своих «предков», — генерал улыбчивым взглядом обвел солдат, — надо ликвидировать во взводе тройки, как несортные зерна в элитных семенах. Посмотрите на себя, вы же все как на подбор и вдруг рядом терпите худосочного ленивца. Он портит вам строй, всю музыку. Как?

— Кусманов уволится элитным солдатом, — ответил за взвод лейтенант.

— Успехов, — генерал приподнял руку.

Со стадиона инспекторы направились на стрельбище, затем в столовую. Везде Лукин заводил разговор с солдатами, изучал их настроение. После обеда поехал по другим полкам. Теперь его интересовали подготовка, жизнь, раздумья о службе в основном офицеров. Порученец Лукина исписал весь блокнот вопросами, ответами, предложениями, замечаниями. Одно из них, появившееся во время ответа Горина, было неприятно Амбаровскому. Где бы ни был теперь Лукин, он обязательно спрашивал: как солдаты и молодые офицеры представляют себе бой, как готовятся переносить тяготы в нем и самую обыкновенную боязнь, которая живет даже в храбрецах да только на крепком замке.

Черноусый командир роты на вопрос Лукина ответил с едва скрываемой усмешкой:

— Кое-что придумали, как выгонять из души страх да стрелять не как в курортных охотничьих хозяйствах, но нам запретили применять это на занятиях. Пока.

— Кто?

— Не объяснили.

Лукин обвел взглядом Амбаровского и Горина и понял, почему капитан уклонился от прямого ответа.

— Что придумал, можешь показать?

— Я — чуть-чуть, основное полковник Сердич и командир полка.

Лукин повернулся к Сердичу. Тот, поняв молчаливый вопрос, ответил:

— Для подготовки учения мне нужно два дня.

— А завтра?

— Если к утру здесь будет вся аппаратура.

— Обеспечить доставку, — коротко распорядился генерал армии, и Амбаровский понял, что это должен сделать он, виновник.

К полудню небольшая команда солдат расставила и замаскировала громкоговорители, пиротехнику, различные препятствия и огневые точки «противника», управляемые дистанционно. С ротой черноусого капитана, артиллеристами, танкистами и саперами Сердич дважды проштудировал меры безопасности и все же не был спокоен: слишком многое зависело от слова генерала армии. Понравится ему учение — задуманное и сделанное получит благословение, не понравится, а тем более случись несчастье — все, будут спрягать на всех совещаниях и собраниях до тех пор, пока не подвернется другой провинившийся.

После обеда Амбаровский пригласил Лукина подняться на вышку, откуда лучше видно поле. Генерал армии, будто не расслышав, направился к пункту управления Сердича. Также молча заслушал объяснение замысла ротного учения, его организацию, первые результаты применения системы помех и имитации боя. Судя по сосредоточенно-насупленному выражению лица, генерал не то что с сомнением отнесся к услышанному, а просто не хотел раздавать похвалы раньше времени.

Учение началось бледно. Разрывы раздавались редко, дымки от них были жидкими, хилыми. Имитация огневой подготовки слишком отдаленно напоминала тот шквал огня, который хорошо помнился с времен Отечественной. Умом генерал армии понимал, что к концу учебного года дивизия не могла наскрести побольше средств имитации, но в душу невольно закрадывалось сомнение, ощутят ли солдаты стихию настоящего боя, его опасность и давящий гул массы огня. А без этого всякая морально-психологическая подготовка — болтовня.

Но вот на опушке леса появились бронетранспортеры. Развернувшись в линию, они двинулись к переднему краю. И тут поле загремело гулом разрывов, сплошным, тягучим, в котором лишь изредка ударами огромного барабана бухали разрывы тяжелых снарядов. Иллюзию огневой подготовки усилила стрельба боевыми снарядами орудий и космы дыма, начавшие закрывать поле.

У генерала Лукина невольно появилось опасение: не зацепят ли осколки и пули солдат, которые, соскочив с бронетранспортеров, побежали в дым, ведя огонь на ходу. Но, всмотревшись в схему, по которой велся огонь, успо-

коился. Орудия били с флангов, и трассы снарядов проносились сравнительно далеко от цепи. Бронетранспортеры открывали огонь, только выдвинувшись вперед.

Прошло минут пять, когда застрекотали, и довольно похоже на настоящие, ожившие огневые точки противника. Справа, слева, из глубины. И тут же начали спотыкаться и неподдельно падать солдаты. И у генерала опять возникла тревога — не скосила ли шальная очередь солдат. Нет, цепь не замешкалась, пошла дальше, уверенно перенося огонь с цели на цель. Выходит, командиры управляют огнем, а пе делают дырки в непораженных целях.

Учение закончилось отражением контратаки. Пока посредники и рота возвращались, генерал заговорил с Сердичем, Гориным и Амбаровским.

— Интересно мое мнение?

— Безусловно, товарищ генерал, — сознался Сердич, довольный, что учение, кажется, закончилось сносно.

— Шуму наделали много. Кое-когда даже меня зацепляло за душу. Чем?

— На магнитофонную ленту записали канонаду из хроникальных фильмов и пустили через громкоговорители.

— Что ж... просто и дешево. А чем заставили падать солдат? Их будто пулями сбивало.

— Натянутой проволокой в траве.

— Выбивать солдат из цепи, считаете, важно? Они же не участвуют во всем учении.

— Правдоподобие — важное условие правильного восприятия боя. Потом... в бою цепь редеет, а на учении — нет, отчего результат оказывается, по сути, завышенным.

— За роту уверены? — Лукин неожиданно повернулся к комдиву.

Горин, чуть вздрогнув, ответил:

— Да.

— Какой даст результат?

— Предполагаю хороший.

— А вы, генерал Амбаровский?

— Предпочитаю не гадать, а знать.

— Что ж... сейчас подойдут мои помощники и узнаем. Только командиру надо и наперед знать, на что способны его войска.

Помощники подтвердили довольно высокий результат, и генерал Лукин, собираясь в дорогу, сказал:

— Вот что. Подробно опишите мне всю вашу систему имитации и помех. К концу инспекции успеете?

— Да, — ответил Сердич.

— Сам почитаю и кое-кому покажу. А пока... кумекайте дальше. Все.

Первые результаты проверки дивизии оказались хорошими. В других дивизиях они были тоже сносными, и это обрадовало Амбаровского, только ненадолго. Командующий округом, заслушав его доклад, упрекнул: как же так, по вашей оценке дивизия Горина чуть ли не худшая, а инспекция признала ее лучшей. Ответить было нечего. Лукин тоже не то спросил, не то упрекнул Амбаровского:

— Говорят, недавно ударил по дивизии Горина так, что чуть крылья не перебил?

— За недостатки по головке не гладил, но перебивать крылья не собирался: они и мои.

Ответ вроде понравился Лукину, поскольку он почти добродушно проговорил:

— Как смотришь, если Горина потом тебе в заместители?

— Не против, но он больше подходит к штабной работе.

— В каком смысле? Не умеет грозно басить?

— Нет, в самом хорошем понимании роли начальника штаба в службе войск.

— Ладно, присмотрюсь. Пока все. — И даже пожелал: — Успехов на учении. Без умения управлять войсками рекомендовать на повышение будет трудно.

Но уже на второй день учения с полного лица генерала сошло даже добродушие. Маленький рот его почему-то начало скашивать к левой округлой щеке, в отрывистых жестах коротких рук прорывалось нетерпение. А утром третьего дня он уже казался Амбаровскому борцом-тяжеловесом, которому наскучило возиться с противником, и он решил придавить его к ковру, как только прозвучит гонг, возвещающий о начале последнего раунда.

Учение подходило к решающему этапу, когда в ход разыгрываемого сражения должны были подключиться выведенные на учение войска. По тому, как они будут

действовать, намечалось определить общую сколоченность соединения, умение командира и штаба управлять войсками в условиях, приближенных к боевым.

Начальник штаба Амбаровского генерал Герасимов, от усталости ставший, казалось, еще меньше и незаметнее, собрал последние данные об обстановке и направился к командиру на доклад. Тот вместе с генералом армии заканчивал ужин и при виде своего заместителя недовольно поморщился — можно было бы минут пять — десять подождать. Когда официантка убрала посуду и вышла, Герасимов, стараясь не шуметь, расстелил на столе карту и стал докладывать. Но Амбаровский прервал его, как только тот начал делать выводы и предложения о боевых действиях ночью.

— Дайте мне подумать самому.

Склонившись над картой, он зашагал по ней циркулем, потом принялся за расчеты.

Лукин встал, отошел в угол палатки. Ему неприятна была несколько показная деловитость Амбаровского. На войне он знал его смелым командиром полка. Встречал и после — дивизия Амбаровского отмечалась в приказе министра за примерный порядок и хорошую выучку подчиненных. Немало лет ходит в заместителях. Так что послужной список Амбаровского позволял перед кем угодно отстаивать мнение, которое Лукин и высказал при обсуждении кандидатур на освобождающуюся должность командира крупного соединения. Но отстаивать его теперь почему-то не хотелось. Больше того, Лукин уже ругал себя за слишком поспешные похвалы, высказанные им в свое время об Амбаровском, — он понял, что тот оказался не таким, каким помнился по прошлым встречам и каким представляли его многочисленные характеристики. Умение организовать учебу войск — еще не означает способность управлять ими на учении и тем более на войне, где есть противная сторона, действиями которой руководят неглупые военачальники, где надо управлять уверенно, твердо, но в то же время гибко, не связывая умную инициативу подчиненных. Только так командир сможет по-настоящему подчинить своей воле и разуму усилия своих войск и сопротивление противника. Об этом еще до войны писал Тухачевский. Да, Амбаровский — волевой начальник, но своих помощников и подчиненных командиров держит на слишком коротких вожжах, и потому с про-

тивником ничего поделать не может, ускользает он из его рук и порой чувствительно бьет по ним.

Так и не заслушав мнение начальника штаба, Амбаровский начал подчеркнуто четко отдавать распоряжения. Отдавал долго и все посматривал на генерала армии, который, к его досаде, стоял в раздумье и, казалось, не слушал его. Кончив, Амбаровский кинул на стол лист бумаги со своими заметками и небрежно, будто сметая мусор, махнул рукой, давая таким образом разрешение начальнику штаба удалиться.

Когда тот вышел, Амбаровский с располагающей улыбкой обратился к генералу армии:

— Если вы не поможете моему противнику, к утру я прижму его окончательно.

— При ваших силах пора бы уж... Ну ладно, спасибо за ужин. Поеду в штаб руководства.

Лукин уехал, оставив Амбаровского в расстройстве. Из головы не выходило его «пора бы уж...» и последний взгляд, который бросил на него генерал армии. «Неужели переменил мнение?..» — холодея, подумал Амбаровский. Снова вспомнил все, что делал, как вел себя Илья Захарович сегодня. Итог был неутешительный: не удастся показать ему что-то особенное — уедет в Москву, скажет в верхах одно слово или в разговоре махнет рукой, и на веки вечные прилипнет несмываемое — лишен таланта, взамен Дениса Гавриловича надо поискать другого.

Амбаровский долго ходил по палатке, придумывая, что сделать, как доказать способность командовать большим соединением ничуть не хуже своего предшественника.

Подошел к карте. Ему показалось, что дороги, по которым выдвигалась дивизия Горина, вот-вот будут изменены, повернуты к окружному полигону, и там разыграется решающее сражение. Оно выявит победителя и решит его, Амбаровского, судьбу. От догадки он весь замер, долго не смел шелохнуться, будто от малейшего движения так долго ожидаемое признание его возможностей и заслуг может исчезнуть, стать небылью.

Полигон Амбаровский давно знал, как свои ладони, знал на нем каждую лощину, бугорок, вышку. И он стал прикидывать, как на нем могут сложиться боевые действия, откуда и куда пойдут войска. Из дюжины вариантов наиболее вероятным, по его предположениям, мог быть тот, по которому одна из дивизий, вероятно Горина, долж-

на пройти с северо-востока на юго-запад, чтобы ее главные силы могли увидеть инспектирующие, командование округа и гости.

Амбаровский уже было принялся обдумывать, как и когда вывести дивизию в предполагаемый район действия, чтобы она могла получше подготовиться к наступлению через полигон, как вдруг усомнился, сумеет и захочет ли Горин показать дивизию как надо. На всякий случай решил позвонить.

— Михаил Сергеевич? Не узнал тебя...

Горина удивил полный расположения и доброты голос Амбаровского, и он ответил с настороженной предупредительностью:

— Слушаю вас, товарищ генерал.

— Тебя можно поздравить!

— С чем?

— Тобой заинтересовался Илья Захарович.

— Если опять насчет службы в Генеральном штабе, скажите, не пойду.

— Почему?

— Люблю возиться с людьми.

— Он не из тех, кто портит службу заключением в канцеляриях. Илья Захарович высказал мысль, что из тебя будет перспективный заместитель командира, равного мне.

Горин ничего не ответил, и Амбаровский, отметив это про себя, продолжил:

— Чтобы возможность превратилась в действительность, надо хорошо сыграть последнее действие. На полигоне, на виду у всех. Старики любят быть гостеприимными, а гостей немало.

— В какой мере это будет зависеть от меня?

В слишком долгом молчании и вопросе комдива Амбаровский уловил нежелание Горина пройти через полигон с эффектом и не решился до конца раскрыть свой план. Сказал в трубку строго, как приказ:

— Аркадьева поставьте на правый фланг. Самого пришлите ко мне.

— Товарищ десятый, он у меня слева...

— Я не люблю повторять!

У уха Горина раздался щелчок — это Амбаровский положил трубку.

Хмурый, с опущенной головой, Лукин вошел в кабинет начальника штаба руководства. По четыре пальца каждой его руки вставлено в карманы кителя, большие рожками торчат вперед, будто собираясь кого-то боднуть. Начальник штаба — генерал-майор Казаков, широколицый, с большими, внимательно слушающими ушами, спокойно доложил обстановку и предполагаемое развитие дальнейших событий.

Лукин подошел к столу, вытащил из кармана левую руку и оперся о стол. Острые его глаза долго скользили по обозначенным на карте дорогам и полям, что-то прикидывая и примеряя. Потом он освободил из кармана и правую руку, четвертью измерил различные направления и, когда выбрал нужные, стал бороздить по ним курвиметром. Наконец, решив что-то окончательно, положил курвиметр и еще раз с удовлетворением посмотрел на карту.

— Вот что, Валерьян Владимирович, я, кажется, ошибся в оценке Амбаровского, перехвалил его. А он... машет грозно, да рубит мелко. Но, мабуть, как говорил мой отец, я переусердствовал в своей оценке. Так вот, надо проверить и мой вывод о нем и его самого. Крупное соединение — комбинат государственного значения. Им должен управлять не только грамотный и волевой человек, но еще и искусный. Вот и давайте закрутим ему обстановочку. Победит — командуй, потерпит поражение — пенять будет не на кого. Слушайте, что я задумал...

Генерал взял карандаш и начал объяснять свой замысел. Кончив, бросил карандаш и спросил:

— Какие будут возражения?

— При таком развитии событий, — заметил генерал-майор Казаков, — несколько усложнится розыгрыш эпизода на полигоне...

— Вот и хорошо. Побежденных остановим и через них пропустим победителей. Предусмотреть меры безопасности. Самым тщательным образом проинструктировать посредников. При малейшей угрозе дать ясно видимый сигнал. И всем замереть! Молодежь, солдат надо беречь, как свои глаза. Дальше. Обеспечьте активность «западных». В кошки-мышки не играть. Тем и другим дать те данные, которые они могли бы реально сами добыть. Но... с учетом мер дезинформации.

— Все будет сделано, — ответил генерал-майор.

— Как всегда, верю и надеюсь, — Лукин мягко положил свою пухлую руку на плечо Казакова. — Я пошел: старику надо отдохнуть.

Приказ Амбаровского поставить полк Аркадьева на правый фланг потребовал сложной перегруппировки всех частей дивизии. Пришлось изменить направление выдвижения авангарда, правофланговую колонну вывести в тыл, на ее место рокадными дорогами перебросить полк Аркадьева, а па левый фланг поставить полк Берчука. И все это — за дождливую ночь, по раскисшим дорогам. Половину штаба и политотдела командир дивизии выслал на дороги и в пункты их скрещивания, чтобы предотвратить опасное сближение колонн.

Перегруппировка проходила медленно и трудно. Она измучила Горина, хотя он всего два раза и ненадолго покидал штаб. Больно было видеть мокрых людей, слушать натужный гул буксующих машин, хриплые голоса командиров. Все это он видел и чувствовал даже тогда, когда слушал донесения командиров в своем теплом и светлом автобусе. И невольно спрашивал себя, зачем Амбаровский придумал всю эту затею с переводом Аркадьева на правый фланг.

Горин сжал пальцы в кулаки и, уловив, что нервы разошлись больше, чем это допустимо на войне, пусть и не настоящей, несколько раз провел ладонями от лба к затылку, чтобы успокоить себя — принимать решение нужно всегда с холодной головой. Когда волнение улеглось, вызвал начальника разведки.

— Какая информация о противнике поступила из штаба Амбаровского?

— Мало: ночь темная, дождливая, авиация летать не может. Видно, потому посредники ничего не дают о противнике.

— Но без данных мы можем заехать прямо к нему в объятия... Вот что. Вышлите дополнительно группы в глубину и к соседям. — Горин показал пункты.

— Оттуда опи едва ли что смогут передать.

— Создайте промежуточный сборный пункт, если понадобится, два. Поднимите вертолет. Организуйте наблюдение за радиоинформацией, которая идет к генералу Герасимову. Нужно!..

В последнем слове было больше просьбы, чем требования, и начальник разведки, помедлив, ответил с той клятвенной скромностью и тревогой, с которой говорили на фронте люди, получившие такое задание, не выполнив которого они не имели права живыми показываться на глаза.

— Постараюсь, товарищ полковник. Разрешите идти?

— Да. — Горин пожал ему локоть, вместе с ним вышел из машины, проводил долгим озабоченным взглядом.

Лишь перед рассветом полки вышли на свои направления, а штаб дивизии смог развернуть командный пункт. Измученные и голодные, возвращались из частей офицеры штаба и политотдела. Вошел Знобин. Сапоги, полы шинели в грязи, лицо мокрое, почерневшее.

— Не пойму, какие высшие соображения вынудили Амбаровского произвести изнурительную для дивизии перегруппировку? Ведь утром бой.

— Предполагаю: хочет полком Аркадьева блеснуть на полигоне.

— Возразить, что он у нас слева, не пробовали?

— Попытался...

— И он даже не спросил: сможем ли, успеем ли, какими пойдем в бой? Узнаю повадку иных фронтовых командующих, — тяжко проговорил Знобин. — Сомнений не знали, границ возможностей не признавали и клали людей порой за высотки и деревушки, цена которым, при здравом размышлении, холостой выстрел. Откуда кое у кого и теперь почти то же? Изучили тяжкий опыт войны, узнали, что есть цена победы, она рассудит меру таланта каждого, и все же...

Горин и сам не раз задавал себе этот вопрос. Ответы встречались разные: время, суровая необходимость, традиции и культура армии, пример военачальника... Но какая бы из причин больше всего не руководила действиями командиров, заметил Горин, во время войны резкость требований всегда возрастала. Не случайно. Война сурова. Выдержать ее беспощадность, помочь и заставить перенести других могли только очень уверенные, твердые характеры. Чтобы не размягчить их, излишества в требовательности не замечались и даже прощались. Но мудрые полководцы и командиры редко нарушали меру требовательности и многого этим достигали. Почему не поступать так всем?

— Мне кажется, Павел Самойлович, — поднимая взгляд на Знобина, произнес Горин, — требовательность на верхних тонах кое-где у нас еще бытует от того, что после войны мы долго и много о ней заботились и мало учили, как ею надо пользоваться. Вот у некоторых воля и разгуливается на всю улицу. Результат — задачи без дальнего смысла, перегрузки войск тогда, когда в этом нет острой необходимости.

Позвонил Сердич и сообщил о получении боевого распоряжения от генерала Герасимова: воздержаться от перехода рубежа № 3.

Полковники склонились над картой и потом недоуменно посмотрели друг на друга — войска дивизии уже переходили его.

Такое распоряжение генерал Герасимов отдал потому, что Амбаровский еще не принял новое решение.

В палатке, ярко освещенной четырьмя лампочками, были только Амбаровский и начальник отдела его штаба полковник Рогов. Не торопясь, Рогов нанес дополнительные данные о положении дивизий, справа положил четко выписанные таблицы и расчеты и, разогнувшись, приготовился доложить все, что от него потребуют. Но Амбаровский отпустил его, ни о чем не спросив.

На карте было все, что штаб смог вытянуть из посредников и получить от дивизий. Мало, очень мало, казалось генералу, и это малое к тому же все время двигалось, менялось, теряло свою определенность, и потому он никак не мог уловить суть в действиях противника, резкая перемена в которых, ощущал он, вот-вот должна была произойти. Генерал резко откинул плечи, будто хотел сбросить измучивший его груз — груз сомнений, и снова склонился над картой. «Так, — размышлял он, — в первом эшелоне у противника не более двух потрепанных дивизий. Не сила. Вчера после полудня из этого района вышли еще две дивизии. До вечера они двигались в полосе соседа.

«А что, если ночью они свернули на юго-восток?! — вдруг забеспокоился Амбаровский. — И теперь они, быть может, уже готовят удар. А мои дивизии стоят...»

Но поскольку признаков появления противника на фланге не было, Амбаровский немного успокоился.

Еще больше неведомого было в ракетно-ядерной группировке противника. И вблизи, и в глубине разведка вскрыла мало целей, и у генерал-майора не было уверенности, что они остались на прежних местах. «Нанесешь удар мимо — на разборе проберут до костей».

Амбаровский перенес взгляд к нижнему срезу карты — в полосу левого соседа и с завистью подумал: «А ему напихали столько данных, что и думать не над чем — ударом вдоль реки отсечь, затем выпихнуть противника в мою полосу — доколачивай, сосед, а я пойду дальше».

Остаться сзади, в хвосте для Амбаровского было также нетерпимо, как носить тесную обувь. И он снова склонился над картой, чтобы заново все передумать. Мелкие, при первом взгляде несущественные данные начали приобретать большее значение, и мало-помалу иначе осветили складывающуюся обстановку. Если час назад переход к обороне главными силами генералу казался единственно возможным решением, то теперь он хотя и переходил к обороне, но ненадолго, лишь с целью меньшими силами измотать противника, а затем стремительным ударом опрокинуть его и вырваться вперед.

Амбаровский вызвал к себе начальника штаба и заместителей. К его удивлению, вместе с ними в палатку вошел и генерал армии. Сев на предложенный стул, буркнул:

— Считайте, меня здесь нет.

«Как же нет, когда ты, Илья Захарович, здесь, — невесело подумал Амбаровский, — и хочешь не хочешь, нужно все делать по меньшей мере так, как ты считаешь правильным». Чтобы выиграть время, Амбаровский приказал начальнику штаба доложить обстановку и свои предложения — пусть генерал армии поругает за приверженность к форме, зато можно будет узнать его, Лукина, мнение или хотя бы настроение. Остальное придет само...

Герасимов беспокойно взглянул на Амбаровского, затем украдкой на генерала армии. С неестественной медлительностью достал записную книжку, осторожно прокашлялся и начал доклад.

Невзрачность и робость начальника штаба вызвали у генерала армии то чувство досадливого сожаления, которое часто возникает у сильного человека при виде слабого, тем более военного. Хочется сказать такому: не по

твоим плечам солдатские лямки, да неудобно — генерал, давно служит, старается. Но вот прошло три-четыре минуты, и Лукин почувствовал цепкость его ума, умение ценить детали. Герасимов нащупал суть намерений противника. Не все его предположения были идеальными (такие отыскивают только историки... после войны), но они были вполне приемлемыми и позволяли добиться успеха.

Амбаровский, слушая доклад своего начальника штаба, то и дело косил взгляд на Илью Захаровича, пытаясь прочесть на его лице хотя бы одно одобрительное или отрицательное движение. Но все в нем будто застыло. Пришлось самому оценивать то, что говорил Герасимов.

Кое-что Амбаровскому хотелось взять из предложений начальника штаба, но в присутствии генерала Лукина он не мог решиться. Ведь тот, казалось командиру, ждет особого решения от него. Значит, все в нем должно быть только свое. «Да, в сущности, мое ничем не хуже и без поправок», — заключил он и хотел было уже объявить его подчиненным, когда сомнения снова одолели его.

Амбаровский уперся в стол кулаками. Шея, туго охваченная стоячим воротом, круто согнулась, побагровела. Сомнения наконец отхлынули, и он объявил свое решение.

— Все? — перебил генерал армии Амбаровского, когда тот попытался обосновать его.

— Да, — ответил Амбаровский, почувствовав неладное.

— Может быть, у кого будут вопросы? — Подождав, Лукин спросил еще: — Или предложения? — Все молчали. — Или возражения? — На последний вопрос тоже никто не отозвался, и тогда он заключил: — Что же, молчание, говорят, признак согласия или полного повиновения... Приказы отдать в точном соответствии с этим решением.

Утро. Взошло солнце. Но его скрывают плотные косматые тучи, гонимые с океана порывистым промозглым ветром. Лишь один луч невесть как отыскал в них щель и окрасил в яркие цвета зеленую рощу у горизонта, желтое поле с разбросанными по нему копнами соломы, голубой поворот реки с оранжевым откосом.

В который раз в таком двойном освещении — пасмурно-сером и ярко-цветистом — предстала перед Гориным приморская земля. Впервые увидел ее теплым летом сорок пятого, когда эшелоны дивизии, проколесив через всю Европейскую Россию и Сибирь, от Хабаровска повернули в сторону. Глазам открылась дальняя, чем-то загадочная, но близкая земля. Дорога, станции, поселки, дома — все было таким же, как за Уралом. Люди тоже. Они жили недавно одержанной победой и, не сдерживая радость, приветствовали победителей. Ее не омрачало даже приближение новых боев. Больше — сжатыми кулаками, лихими криками они как бы подзадоривали прибывающих — до чертиков надоели задиристые самураи, дайте им, чтоб унеслись за море, поможем!

Загадочность ли края, открытое ли доброжелательство людей, которые не мыслили свою здесь жизнь без близкого соседства армии, а вернее, то и другое вместе, решили выбор, куда ехать после окончания академии. На этой земле, далекой, трудной, он с небольшим перерывом прожил вот уже почти два десятка лет и теперь не знал, что для него роднее — Приуралье, где он родился и вырос, или эта горно-лесная сторона с ее стойкими в беде людьми.

С наблюдательного пункта дивизии, расположенного на опушке густого соснового леса, кроны деревьев которого укрыли от стороннего взгляда машины, людей, антенны, Горин еще раз окинул залесенную голубовато-серую даль и вернулся в штабную машину. За радиостанциями сидели офицеры и прослушивали эфир, по каплям собирая нужные данные об обстановке. То и дело в наушники врывался гул помех противника, вынуждая менять волну. Особенно плотно и быстро забивалась связь со штабом Амбаровского, откуда все еще не поступила задача на дальнейшие действия. А стоять на месте становилось все более опасным.

В машину вошел Сердич.

— Товарищ полковник, только что получены данные, добытые глубинной разведкой. Разрешите нанести на карту?

— Да, конечно, — вздохнул с облегчением Горин и сам взялся за карандаш.

Когда все было нанесено, Горин низко склонился над картой, пытаясь проникнуть в развитие не только той обстановки, которая складывалась перед дивизией, но и в полосах соседей. Задачи все еще не было, и, чтобы самому определить ее, нужно было понять и предугадать, к какому решению пришел сейчас генерал Амбаровский. Многое говорило за то, что «западные» в ближайшие час-два предпримут самые решительные меры, чтобы изменить ход действий в свою пользу: резко возрос обмен информацией, началась проверка радионавигационных систем, возросло сопротивление отходящих войск, особенно в районе полигона, отмечено развертывание новых ракетных установок, наконец, определилось направление, куда должны были устремиться подходящие резервы противника и где, следовательно, будет создана брешь для продвижения на восток — частично в полосе дивизии и у соседа справа. Значит, идти прямо — потерять почти половину дивизии. Не двигаться? Тоже нельзя. Лес, в котором стояли полки, укрыл их от наблюдения, но и стал ловушкой — нанеси противник несколько ударов по выходам из него, и большую часть войск дивизии не выведешь для боя. И Горин пришел к решению: прикрыв опасное направление резервами, главными силами, отклонившись несколько к югу от центра полигона, через редкий лес и кустарник немедленно и по возможности скрытно начать глубокий обход района, где вероятнее всего противник нанесет мощный ядерный удар. Затем, пока противник будет преодолевать лесной массив, выйти ему в глубокий тыл и тем самым успех противника превратить в его поражение.

Вошел посредник. Горин, не поднимая головы, обратился к Сердичу:

— Еще раз затребуйте задачу, пошлите в штаб к генералу Герасимову еще одного нарочного. Ждать задачу дальше крайне опасно! Через десять минут вам, Ашоту Лазаревичу и офицерам связи быть у меня.

Сердич ушел, Горин присел на складной табурет и начал наносить на карту задачи полкам. По его предположению, распоряжение Амбаровского, которое дивизия получит, существенно не изменит его решения, а уточнить всегда легче, чем поставить задачу заново.

Пришли офицеры, с ними Знобин. Горин изложил задачи полкам, офицеры нанесли их на свои карты и бегом

отправились к радиостанциям. Через пять минут взревели мотоциклы, и, юля между кустами, связные умчались в полки. Еще через полчаса полки подтвердили получение задачи. И только затем сквозь завесу радиопомех прорвалась радиостанция из штаба генерала Герасимова: «Дивизии наступать в направлении Красное, выйти на рубеж высот (55372) и перейти к...» Снова нахлынул нудный гул помех и подавил ее слабый голос.

Горин трижды перечитал раскодированный обрывок радиограммы. Самое непонятное было в последней букве «к». К чему перейти? К преследованию? Или к обороне? Для первого еще не созрели условия, второе для дивизии было крайне невыгодно в складывающейся обстановке. Видимо, предположил он, радист допустил ошибку. Склонился над картой и стал анализировать задачу. Темп невероятно медленный, почти пеший, рубеж, который следовало захватить, значительно шире полосы наступления. Выходило, ошибся не радист. Останавливать войска, начавшие уже движение, чтобы проверить, кто же допустил ошибку, было невозможно. Они уже обнаружили себя и остановить их — значит погубить: время удара противника приближалось. Спасение и победа — только в движении. И Горин не остановил полки, понимая всю тяжесть ответственности, которую берет на себя.

Прошло не меньше часа, прежде чем офицер штаба дивизии сообщил: перейдя реку Смоличь, полк Аркадьева направления движения не изменил, идет прямо на центр полигона.

Побелевшими пальцами командир дивизии сжал толстый цветной карандаш. Одним неточным действием Аркадьева разрушался намеченный ход событий. Как только его полк поднимется на высоты, он будет уничтожен; удар, которым командир дивизии предполагал связать часть сил противника, не состоится, а главное, из-за этого обнажатся фланги других полков, совершающих глубокий обход. Горин стал лихорадочно искать спасение. Пришедшее в голову решение было рискованным — немедленно остановить полк. Только в этом случае полк избежит полного уничтожения. Для предотвращения или ослабления катастрофы приказал начальнику артиллерии нанести удар ракетами, ствольную артиллерию развернуть для стрельбы прямой наводкой в километре за ро-

кадной дорогой; резерв выдвинуть на угрожаемое направление; немедленно сменить место командного пункта.

Только после того, как были поставлены новые задачи тем частям, которые должны стать на пути удара противника, Горин вызвал по радио Аркадьева, в неизбежной «гибели» полка которого был почти уверен. Подготовленным упреждающим ударом огневых средств да созданием оборонительного рубежа он рассчитывал лишь задержать противника и тем самым позволить остаткам полка, в реальных условиях потерявшим бы боеспособность, отойти за реку.

— Почему продвигаетесь не в указанном направлении? — спросил Аркадьева открытым текстом.

— Я получил распоряжение лично от «десятого» как можно организованнее выйти на известную гряду высот и уцепиться за нее.

«Вот оно что! — догадался Горин. — Парадом развернув свои войска... Видимо, дорого обойдется им этот парад. Удар ведь будет в основном по моему правому соседу. Зачем же мою дивизию связывать обороной?..» — Взвесив все, Горин прервал затянувшееся молчание.

— Ни метра вперед! Переходите к обороне на месте!

Горин положил трубку и вызвал Знобина. Объяснил обстановку, рассказал о своих последних распоряжениях, закончил с тревогой:

— Как можно быстрее, Павел Самойлович, к Аркадьеву. Будет тяжело, помогите отвести полк за реку. Если удар не слишком коснется полка, броском его на высоты. Туда прибудет танковый резерв. Надо не позволить противнику образовать брешь на левом фланге соседа. Для него это будет лучшей помощью. При возвращении ищите меня вблизи Верстовичей...

«Что же делать? — растерянно спрашивал себя Аркадьев. — Для одного надо двигаться вперед, другой приказывает стоять на месте. По уставу нужно выполнять приказ командира дивизии. А как потом будет смотреть на меня Григорий Никифорович?» Он ведь лично поставил задачу, рассказал и попросил, как лучше подойти к полигону и развернуться на высотах, у всех на виду».

Не зная, на что решиться, Аркадьев прижался головой к ветровому стеклу машины.

Подошел заместитель Знобина, высокий хрупкий подполковник, присланный к Аркадьеву на время учения вместо Желтикова, которому предоставили возможность покомандовать батальоном.

— Что нового, Геннадий Васильевич? — обратился он, положив руки на тент машины.

— Комдив приказал перейти к обороне. Но разве колонны сейчас остановишь? Они набрали ход...

— Но если приказано...

— Приказано, вот по этой коробке, — постучал Аркадьев по радиостанции. — Неудача — ее в свидетели не возьмешь: я же получил задачу лично от генерала Амбаровского.

— Полковника Горина я знаю два года. Не было случая, чтобы он отказывался от своего слова.

«Да, Горин, кажется, такой, — задумался Аркадьев. — За неудачи полка и встречи с Любой мог придавить, а дал время поправиться. Обойти его приказ — навсегда или очень надолго потерять его веру. Чуть споткнешься — уже не защитит и не поможет. А случится неладное сейчас, если действовать по указаниям Григория Никифоровича, его словами (Горин о задаче полка знает) не оправдаешься, новый приказ комдива получен только что. Так что останавливай полк и переходи к обороне немедля».

Аркадьев посмотрел вперед — подразделения полка, пока он раздумывал, так далеко ушли, что приказ комдива едва ли удастся выполнить. От навалившегося стыда и страха Аркадьев схватился руками за грудь, будто внутри у него натянулось что-то до нестерпимой боли и вот-вот должно было лопнуть.

— Геннадий Васильевич, что с вами? — увидев растерянность командира полка, обратился подполковник.

— Пока говорили, батальоны ушли вперед. Теперь не поздоровится.

— Если сейчас же их остановить, беды еще можно миновать.

Командир полка встряхнул себя, выпрямился, но единственное, что позволяло немедленно остановить полк, — отдать приказ открытым текстом, пусть с риском получить выговор на разборе учения за нарушение порядка

переговоров, — не пришло ему в голову. Он затребовал таблицу сигналов, хотя своя лежала в планшете, и стал искать в ней нужное значение команд. Пока нашел и передал, машины передовых рот уже поднялись на высоты, стали расчленяться на взводные колонны. Аркадьев повременил, ожидая, что сигналы вот-вот дойдут до водителей бронетранспортеров и батальоны остановятся. Но, к его ужасу, те продолжали двигаться. Он рванул микрофон и раздраженно спросил: «Почему, почему... не выполняете приказ?!» Услышав ответ, опустил руки: его приказ «перейти к обороне» приняли за подтверждение прежнего — перейти к обороне на ранее указанном рубеже — он же рядом.

В это время у соседа справа в небо поползли дымные грибы. Потом еще два. А через пять минут и подразделения полка вздрогнули от мощных взрывов.

Открытая машина Знобина, разбрасывая по сторонам комья грязи, промчалась невдалеке от командного пункта Аркадьева, скрылась в кустарнике и вновь показалась уже вблизи колонн, которые все еще ползли вперед, дробились на более мелкие, стремясь дотянуться до намеченных рубежей, хотя это уже было бессмысленно — «взрывы» настолько близко легли от них, что в живых уже мало кто мог остаться и самое разумное было повиноваться мощному сигналу, поданному с пункта участкового посредника: «Восточным прекратить движение!»

В этом движении, видел Знобин, была растерянность, сознание постигшей неудачи. Отвратить ее, избежать жертв, тяжкой беды полка и дивизии — это сверлило ему голову, и он крикнул шоферу: «Быстрей, говорю, быстрей!»

Подшпоренная машина недовольно заурчала и выскочила на высоту, которую затягивали белые космы дымовой завесы. Пологий западный скат ее уже подминали под себя танки «противника». Они набирали скорость, силу удара, ярость, которая и на учении бывает опасной. А солдаты Аркадьева, не понимая этого, соскакивали с бронетранспортеров, кротами вкапывались в землю. Встав во весь рост, Знобин закричал во весь голос:

— По машинам! По машинам!!!

Ближние услышали, потянулись назад, к бронетранспортерам. А справа все еще ползли группы солдат и разбегались по гребню. «Козлик» устремился к ним. Едва

машина замедлила ход, Знобин соскочил и, как это бывало на войне, побежал наперерез бронетранспортерам, начавшим спускаться по скату вниз, к надвигающемуся «противнику»...

Взвод старшего лейтенанта Светланова был в хвосте ротной колонны и потому несколько задержался с выходом на высоту. Когда Светланов увидел сигнал «прекратить движение», он с досадой стиснул зубы: «Опять будут упрекать: отстал, не успел вместе со всеми выйти на рубеж». И решив «под шумок» дотянуть до намеченной позиции, ускорил движение своих бронетранспортеров, но вдруг в густом белом дыму, совсем близко увидел полковника. Спотыкаясь, он бежал прямо под надвигающуюся на него машину. Светланов рванул с головы противогаз, прыгнул с бронетранспортера вперед и под самыми колесами успел подхватить падающего Знобина. А в следующее мгновение оба уже лежали на земле. Одна нога Светланова оказалась между тяжелыми черными колесами.

Солдаты быстро обступили упавших. Они видели первые в своей жизни жертвы военных действий и испуганно жались друг к другу. Еще не совсем веря в происшедшее, Светланов поднялся на руках, попытался высвободить ногу, но острая боль прорезала все тело, и он прилег грудью на землю. Знобин не шевелился. В его глазницах, на лбу стали наливаться крупные, как горох, капли холодного пота. Дышал он мелко и часто.

Подбежавший командир роты с двумя солдатами осторожно вытащил Светланова из-под машины, положил рядом со Знобиным, развернул бронетранспортер так, чтобы он на всякий случай прикрыл пострадавших своим корпусом, и отрывисто приказал:

— Всем по машинам!

Но опасности уже не было — танковая лавина остановилась в двухстах метрах от места происшествия.

Подъехал подполковник Желтиков, за ним участковый посредник. Осмотрев пострадавших, генерал тут же вызвал по радио врача и вертолет.

Наконец прибыл Аркадьев.

Генерал-посредник стал расспрашивать не о самом происшествии, а о том, какое и когда полк получил рас-

поряжение, когда Аркадьев поставил задачи, почему не остановились подразделения после ядерного удара и по какой причине на высоте оказался заместитель командира дивизии.

От вида жертв и неизбежных теперь суровых взысканий, вплоть до снятия с полка, Аркадьев совсем потерялся и не нашел ничего умнее, как принять позу, которая обычно производила на начальников нужное впечатление — строго уставную и в то же время слегка непринужденную. Однако на посредника она не подействовала: с прежней судейской беспристрастностью он задавал вопрос за вопросом. И Аркадьев совсем сдал, стал отвечать сбивчиво, невпопад, забывая о том, что говорил минуту назад.

В небе застрекотал вертолет. Прилетевший врач после осмотра пострадавших сделал Знобину укол и велел обоих перенести в вертолет. Машина осторожно оторвалась от земли и улетела в сторону показавшегося между тучами солнца.

Посредник проводил вертолет взглядом до самого леса и, перед тем как принять решение, задумался, положив свои сухие морщинистые руки на широко расставленные острые колени. Решалась судьба людей, и он постарался проверить еще раз, на что способны командир полка и батальона.

— Ваши решения на дальнейшие действия?

Первым доложил Аркадьев: собрать все, что можно, и ликвидировать последствия ядерного удара противника.

— Что думаете вы? — обратился генерал к Желтикову.

От прихлынувшего волнения губы у Желтикова дрогнули и смяли первое слово. Он сжал их, перевел дыхание и, будто предварительно выравнивая слова, заговорил разрубленными фразами:

— В сложившейся обстановке... третий батальон, который не попал под ядерный удар... лучше развернуть за рекой и не допустить быстрого выхода танков противника в глубину боевого порядка дивизии.

— А как же с первым и вашим батальонами?

— От них осталось немного. «Погибших» лучше собрать в группы и усадить на машины. Чтобы они не попали случайно под танки. Оставшихся в живых — около десяти танков, трех взводов пехоты — целесообразно

использовать в засадах, и тем помочь третьему батальону занять оборону за рекой.

Желтиков остановился. Генерал поднял любопытный взгляд: думает здраво, а волнуется, как лейтенант. Подступившая робость вновь овладела Желтиковым, и он поспешил оправдаться:

— Если мои расчеты ошибочны, батальон погиб весь, разрешите хотя бы в учебных целях создать небольшой отряд. Мне кажется, его действиями можно показать молодым офицерам, сержантам и солдатам... что и после ядерного удара можно... и нужно продолжать бой.

Генерал снова посмотрел на Желтикова.

— Давно командуете батальоном?

— Только на учении. Я — замполит полка.

— Что ж, командуйте дальше.

Когда бронетранспортеры были собраны в группы, движение танков «западных» возобновилось. На полной скорости они перемахнули через высоты и устремились к реке и лесу за нею. Однако по дорогам им пробиться не удалось — их уже оборонял отошедший мотострелковый батальон, танковый резерв командира дивизии и артиллерия. А через два часа танки «западных» начали отход — в их глубоком тылу оказались главные силы дивизии Горина.

22

Беда есть беда, никто от нее не избавлен. Но не у каждого хватает мужества взять свою долю вины на себя.

Сразу после конца учения Амбаровский вызвал к себе Аркадьева. Полковник готов был выслушать любые упреки, даже грубые, оскорбительные — не в его нынешнем положении обижаться. На учении действовал так, что, в сущности, подвел всех. Ко всему этому, пока шло учение, в полку случилось чрезвычайное происшествие — рядовой Губанов, уйдя в самоволку, сел в чужую машину и сбил школьника.

Амбаровский стоял в углу, у радиоприемника, когда Аркадьев переступил порог. Смуглое лицо генерала было злое, пальцы правой руки отбивали такты грозного марша.

— Доложи толком, как твои подчиненные чуть не задавили Знобина.

— Знобин промчался мимо меня, — обреченно заговорил Аркадьев, — когда я только закончил отдавать распоряжения во исполнение приказа командира дивизии — не двигаться...

— Как не двигаться? Куда не двигаться? — удивленно поднял брови Амбаровский.

— Когда я перешел реку и начал движение к высотам, Горин отдал приказ: перейти к обороне на месте...

— Почему же ты полез на высоты?

— Я выполнял ваши указания и промедлил...

— Но ты обязан был выполнять последний приказ, приказ командира дивизии, — резко возразил Амбаровский. — Это элементарное положение устава. Тогда бы за все отвечал Горин. И за невыполнение моего приказа и за ЧП. Теперь будешь отдуваться ты.

Генерал с укором посмотрел на понуро стоявшего Аркадьева, отошел к столу и оттуда сказал мягче:

— Постараюсь помочь, но в таких ситуациях возможности мои не безграничны. Расскажи, чтоб мне было ясно, почему произошла вся эта путаница на высоте? Сигнал «прекратить движение» вам подали, а вы все ползли куда-то к черту на рога.

— Командир первого батальона и замполит неправильно поняли мой приказ.

— При чем тут замполит?

— Он командовал вторым батальоном.

— Поч-чему?!

— Приказ командира дивизии.

— Зачем?

— Решил дать ему покомандовать, приобрести опыт, твердость.

— Нашел время. Дорого обойдется вам эта учеба. Ладно, иди.

Тревога за происшествие на учении сопровождала Горина на всем пути возвращения дивизии домой. Она виделась на уставших лицах солдат, чувствовалась в предупредительно-сдержанных командах офицеров и даже в собранности колонн, обычно растянутых после закончившихся проверок и учений. Еще более острую тревогу он

увидел в глазах женщин, когда проезжал мимо домов, где жили семьи офицеров. И притихшая было боль от потери Знобина снова разлилась по всему телу.

Большой своей вины в происшествии Горин не видел, если не считать того, что он послал Знобина в самое опасное место. Но после разговора с кипящим от негодования Амирджановым и с Сердичем, потемневшим от возмущения, пришлось насторожиться. Они рассказали содержание объяснительной записки Амбаровского, о которой доверительно сообщил Сердичу товарищ, приезжавший по заданию Лукина к Знобину. Оказывается, Горин обвиняется в невыполнении приказа на переход к обороне, в командовании подразделениями полка своими представителями через голову командира полка, в необдуманном назначении командиром батальона человека, совершенно неподготовленного к управлению в сложных условиях, в результате чего, собственно, и произошел несчастный случай.

От всего услышанного невероятно уставший за учение Горин грудью навалился на стол, на котором лежали вдруг обессилевшие его руки. Пригнуло его не возможное наказание за несчастье со Знобиным и старшим лейтенантом Светлановым. Он сам раскаивался, что послал замполита к Аркадьеву. Воздержись он, и Павел Самойлович, возможно, избежал бы инфаркта, свалившего его под колеса бронетранспортера. Глубоко обидели, оскорбили его надуманные кем-то обвинения. Но сейчас Горину не хотелось ни говорить о них, ни тем более опровергать их и оправдывать свои поступки, свое понимание сути воинской службы, методов управления войсками в бою и операции — все это, в сущности, написано в уставах, и он только следовал им.

Впервые за три года совместной службы Амирджанов увидел командира дивизии согнутым тяжестью невзгод и весь закипел от негодования:

— Эти объяснения, Михаил Сергеевич, нельзя, невозможно не опровергать!

— На основании чего, Ашот Лазаревич? На основании того, что сказал товарищ Георгия Ивановича?

— Да.

— Он вам дал согласие вмешаться в эту возню? — вяло спросил Горин.

— Не было разговора, — виновато ответил Сердич,

искренне жалея о том, что не спросил товарища об этом. — Но если я его попрошу, Михаил Сергеевич, он сделает все, что сможет.

Горин молчал, не зная, как ответить на слишком щедрую помощь Георгия Ивановича. Тогда снова загудел Амирджанов.

— Гром грянул, товарищ полковник, мы не пай-мальчики, чтоб прятаться от грозы. Как я буду вам смотреть в глаза, если не сделаю все, чтобы защитить вас от несправедливости? Я буду себя чувствовать старым ишаком, место которому — на живодерне, вот как я буду себя чувствовать!

— Спокойнее, Ашот Лазаревич. У нас есть старшие. Они, думаю, разберутся, кто в чем виноват.

— Но у них только объяснение Амбаровского!

— А за нас посредник, человек, по-моему, объективный и справедливый.

— И все же разрешите нам выехать на разбор раньше?

— Пожалуйста, — неохотно согласился Горин. Как всякой честной натуре, ему было неприятно не только самому защищаться от несправедливости, но даже воспользоваться предложенной помощью.

Горин остался один. Потянулся было к телефону, но звонить раздумал. Врач уже несколько раз уверял его, что Светланов операцию перенес великолепно, а Павлу Самойловичу значительно лучше. Но Горину все еще казалось, что Знобин доживает свои последние часы.

Павел Самойлович приходил в себя долго. Первое слово, которое он услышал, было «мезотрон». Потом снова впал в забытье, и ему представился какой-то летающий над ним птерозавр, черный, с длинной голой шеей и хищным орлиным носом. Потом услышал жестяной голос человека, который холодно смотрел ему в глаза и твердил одно и то же слово: «страфантин, страфантин». И только минуту или час спустя в тумане вырисовались белые фигуры, лица, и Знобин догадался, где находится. Хотел спросить, как это его сюда угораздило, но не смог пошевелить губами — такие они были тяжелые. А вскоре устал даже думать. Лишь к следующему утру сознание его прояснилось, и по гаснущему в груди жару вспом-

нил, как тот припек его сердце, а потом кипятком разошелся по всей груди, перехватил дыхание и свалил на землю.

Что было дальше, вспомнить не мог. Попробовал лечь удобнее, тут же услышал голос сестры:

— Нельзя! Нельзя шевелиться! Сейчас придет врач.

Врач пришел через несколько минут. Знобин попросил его:

— Запишите, что я вам скажу и передайте генералу армии Лукину. В полном сознании удостоверяю: попал под машину в результате приступа... Напишите по-медицински. Никого в моем несчастье не винить. Доктор, очень важно, прошу. — Передохнув, попросил: — Если придет полковник Горин, пропустите...

Горин надел халат и, думая, как бы меньше утомить Павла Самойловича, вошел в палату. Ресницы Знобина дрогнули, уголки рта сдвинулись в улыбке. Михаил Сергеевич взял стул, осторожно, не стукнув ножками о пол, поставил его рядом с кроватью, присел и двумя ладонями, будто собираясь согреть, взял руку Знобина.

— Молчать! — мягко приказал он своему заместителю, видя, что тот пытается говорить. — С дивизией все в порядке. Учение закончили хорошо, не беспокойся...

— У тебя неприятности, не скрывай, вижу.

— Пустяк. Лишь бы ты...

— Не пустяк. Твоя судьба — не только твоя. Во многом она судьба многих... многих тысяч людей, солдат... — Знобин умолк, чтобы собраться с силами. — Не дай обиде подточить твой талант. Его надо не только оберегать, но и защищать.

— Ладно, обещаю. Будет все, как нужно. Я верю, верь и ты.

— И еще: поддержи, пока меня не будет, Желтикова. В нем есть божья искра. Беды, боюсь, погасят ее.

— Все сделаю.

— Что с Аркадьевым?

— Подавлен.

— Как с ним?

— Если генерал Лукин не решит его участь, надо помочь.

— Всю дивизию подвел.

— К учению не успел выздороветь.
— Как Люба?
— Уехала.
— Куда?
— К родным в Алма-Ата.
— Ни к кому не зашла?
— Была у Милы.
— Ну и?.. — Павел Самойлович с надеждой повернул к Горину глаза.
— К мужу ни в какую.
— Бес-баба.
— Может быть, к лучшему?
— Степанов засохнет там без нее.
— А вместе — оба. Или выкинет такой номер — стыда не оберется.
— Ты все же напиши ему письмо, — не хотел верить в неудачу Знобин. — Чтоб сплетням не верил, набрался терпения, хорошо дослужил...

От Знобина Михаил Сергеевич зашел к Светланову. После встречи ночью, у дома, перемена в Вадиме была заметная. В глазах, ушедших глубоко в себя, виделась до боли тревожная мысль, наверное о своем будущем, но она не нарушала обретенной им внутренней устойчивости, о чем говорила спокойная поза, в которой он лежал, аккуратная прическа и даже книга, сама собой соскользнувшая с одеяла на пол. Повернулся на звук — бледные щеки залил негустой румянец, а в глазах метнулась растерянность, будто Горин догадался, о чем он мог думать перед его приходом.

Горин не ожидал, что молодой офицер, спасший жизнь человеку, так разволнуется. И лишь когда подсел к нему, пришла догадка, что Вадим думал о будущем — будет ли оно: ведь нога раздроблена.

— Как себя чувствуете? — участливо спросил Горин, поднимая упавшую книгу.
— Врачи говорят — хорошо.
— А вы им верите?
— Хочется, — помедлив, ответил Светланов.
— Надо и можно верить. В полевых условиях, на фронте, хирурги делали очень многое, спасали не только жизнь, но и красоту. А сейчас они кудесники.

— Вероятно, не все.

— Очень многие. И наш Петр Степанович не хуже исцелителя Брумеля.

— Сколько раз вы были ранены? — спросил Светланов, желая обрести в ответе комдива уверенность.

— Четыре раза. Один раз очень тяжело, сразу пятью осколками. Жив остался чудом. Но слепили, зашили и — почти никаких последствий.

Вадим не отозвался. Он думал о том, что четырежды раненный Горин мог поступить в академию — у него ведь не только четыре ранения, но и четыре ряда орденов и медалей. Да и кто тогда шел в академию без ран? А вот как теперь ему, Светланову, когда и здоровых, из числа желающих, во много раз больше, чем могут принять в академии?

— Что, Вадим, вас беспокоит?

Услышав свое имя, Светланов не сразу поверил, что его произнес командир дивизии. Произнес просто, будто произносил его тысячи раз, и в то же время с добродушной иронией, как порой отец говорит маленькому сыну, чтобы подбодрить его, уверить, что он уже большой и ему не к лицу хныкать. От нахлынувших чувств сделалось жарко, в глазах защипало, и он уже не мог, не хотел скрывать от Горина ничего, ибо понимал: нельзя таить сомнения и невзгоды от человека, который поверил в тебя и хочет добра.

— Неудобно говорить о себе, но только теперь я понял, как неправильно вел себя раньше, сколько еще глупого мальчишества было во мне. Вижу, служить надо иначе, но одно тревожит: примут ли меня теперь, с покалеченной ногой, в академию?

— Думаю, примут. Серьезных последствий, сказал врач, не будет. Сможете бегать, играть в гандобол. Конечно, не раньше следующего года. В крайнем случае будете учиться заочно: это труднее, но Галя поможет. Она будет ждать вашего выздоровления.

23

Горин вернулся в штаб и на стуле у своего кабинета увидел ожидавшую его немолодую женщину. Она была во всем черном. Ее беспокойные руки с выступившими

на них венами беспомощно лежали на коленях. Она испуганно повернулась на звук шагов и подняла на Горина измученные глаза.

Догадавшись, кто она, Михаил Сергеевич поспешил открыть дверь и пропустил женщину в кабинет. Высокая, умевшая еще совсем недавно держаться на людях уверенно, сейчас она шла медленным, расслабленным шагом. Так же медленно села.

— Я... мать Лерика... Ксения Игнатьевна Губанова. Что с ним?

Женщина подала телеграмму. В ней было всего два слова: «Мама, спаси». Горин не решился вернуть ее женщине, боясь, что она воспримет этот жест как отказ помочь в горе. Но что сказать? Не могу? Нельзя? Вряд ли поймет. Для нее солдат Губанов — сын, Лера, единственный и хороший, который не мог поступить дурно. А если что он и сделал нехорошего, то совершенно случайно. Или потому, что кто-то не смог его понять. «Нет, ваш Лера совсем не такой хороший, как вы думаете, и он был плохим уже тогда, когда вы провожали его в армию», — просились в ответ на молчаливый упрек страдающей женщины только эти слова о солдате Губанове, проступок которого мучит сейчас многих офицеров батальона, где он служит, и ему, командиру дивизии, добавил неприятностей. И будь перед Гориным мужчина, он сказал бы о его сыне очень резкие слова. Для женщины подобрал другие.

— Ваш сын, Ксения Игнатьевна, самовольно ушел из части. И если бы не товарищи...

— Что?

— Могла быть большая беда. По чистой случайности он не задавил школьника.

Ксения Игнатьевна вспомнила телеграмму, и каждое слово ее, еще яснее показалось ей, кричало о немедленной помощи. Если бы ему не грозил суд, разве он написал бы так? Чтобы не расплакаться, Ксения Игнатьевна прикусила губы, но пронзившая ее боль рвалась из нее, и ей пришлось закрыть глаза платком. Долго женщина не могла собраться с силами, чтобы спросить: что с ним, с ее сыном, теперь будет? Когда же собралась, она уже была уверена, что ее мальчика будут судить, и она начала защищать его.

— Поверьте, в душе Лерик добрый. Он может быть

добрым. Из-за какой-то веской причины он решился уйти из части.

— Хотел бы верить вам, Ксения Игнатьевна. Но три недели назад я говорил с ним, предупредил, что с ним будет, если он не изменится к лучшему: самовольные отлучки за ним водились и раньше. Еще хуже он был до армии,— добавил Горин, — кажется, катался на чужих машинах и чуть не попал под суд.

Ксения Игнатьевна побледнела. Полковник не поверил ей, значит, судьба ее мальчика предрешена. Но ведь в нем есть и доброе. Это поняли тогда, до призыва, следователь и военком. Почему же здесь не хотят увидеть в нем хорошее и помочь ему избавиться от дурного? И она упрекнула в этом Горина.

— Солдат, Ксения Игнатьевна, не может быть наполовину хорошим, наполовину плохим. Вы это знаете, служили на фронте врачом. Трудно признаться, но пока десяток командиров и политработников не смогли исправить вашего сына. Остается...

— Судить?!

От резкого надрывного крика Горин смутился и не смог сразу ответить, что ее сын, по сути дела, переступил ту грань, когда трудно ограничиться простым взысканием. Для некоторых продолжение службы в дисциплинарном батальоне, в более строгих условиях, бывает единственным надежным средством избавиться от запущенных болезней. Есть и еще одна причина.

— Вы, конечно, читали «Волоколамское шоссе». Там есть такие слова: я убивал сына, но передо мной стояли сотни сыновей. Я обязан был запечатлеть в их душах, что изменившему солдату нет и не будет пощады. А ведь солдат, которого расстреляли перед строем, всего лишь в минуту затмения рассудка страхом прострелил себе руку.

— Нет, нет, Михаил Сергеевич. Так поступали только в сорок первом. Позже относились гуманнее.

— Разумнее — посылали в штрафные роты.

— Многие из них возвращались живыми.

— Побывав в госпиталях.

— Вы жестоки, Михаил Сергеевич! — Ксения Игнатьевна заплакала, и по ее скрестившимся на груди рукам, которыми она будто старалась удержать в себе боль, Горин понял, что сын для Ксении Игнатьевны не только сын, но и святая память о том, кто, иссеченный осколка-

ми, не дожил до дня рождения своего ребенка. Осуди Леру — она будет считать, что не сдержала самого важного слова, которое дала умирающему мужу. И жизнь ее очень надолго станет пасмурной и холодной. Но добиваться смягчения наказания Губанову без уверенности, что он станет иным, он не мог.

— Хорошо, Ксения Игнатьевна. Что в моих силах, я постараюсь сделать, чтобы ваш сын не попал на скамью подсудимых. Но при одном условии: он должен понять всю тяжесть своей вины и никогда больше не оступаться.

— Хорошо, он поймет, поверьте, поймет.

— Не думаю, Ксения Игнатьевна... если вы будете его просить, — возразил Горин женщине, засветившейся радостью. — С сыном вы должны говорить не как мать, а как врач, военный врач: или точное соблюдение режима и лечебных предписаний, или...

— Постараюсь, — вытирая с лица слезы, проговорила Ксения Игнатьевна.

Горин вышел.

Услышав за дверью знакомые, хотя и измененные тяжелыми солдатскими сапогами шаги, Ксения Игнатьевна вскочила и устремила к открывшейся настежь двери изнуренные долгими терзаниями глаза. Сын на мгновение задержался в проходе и с распростертыми руками бросился к матери. Остановился рядом, весь в смятении от долгой разлуки. Окинул ее любящим взглядом, стал целовать ее щеки, лоб, руки.

— Мама, мама, дорогая! Как я соскучился по тебе! Я знал, что ты приедешь, очень ждал!

Губанов усадил Ксению Игнатьевну на стул и прижал ее голову к своей щеке. Обоим стало тепло и хорошо. От охватившей ее слабости Ксения Игнатьевна закрыла глаза... и сразу увидела мчащуюся грузовую машину. Чтобы не видеть возможной катастрофы, открыла глаза. Посмотрела на сына. Он все еще был озарен радостью встречи. На всем лице, кажется, ни морщинки или простой озабоченности от мук, которые должен испытывать человек, чуть не задавивший ребенка. Ей вспомнился эпизод войны, когда в сорок втором году, после строгого приказа главкома, один человек, офицер, отлучился из части, стоявшей на отдыхе. Всего на одну ночь. Уверял, к любимой. Ему поверили, но не простили. На комсомольском собрании все проголосовали — исключить. И она... Хотя

смогла оторвать от колена, на котором лежала ее рука, лишь только пальцы. И сколько дней потом мучилась, представляя, каким убитым он шагает к передовой в строю штрафной роты. А Лера... Она легонько отстранилась от сына, еще раз посмотрела на него и тихо спросила:

— Лера, как ты мог это сделать?

— Я хотел всего лишь на час. Побыть у знакомых. Обещал, а меня не отпустили.

— Почему?

— Сказали — не время, идут учения и некем меня подменить в наряде. А в сущности, не захотели. Продолжают воспитывать. Такой окружили заботой — дышать нечем.

— А может, они действительно помогали тебе?

— Допускаю. Но перенести такую помощь не смог. Второй год одно и то же.

— Я, женщина, служила в два раза дольше. На фронте.

— Фронт и казарма — совсем разные вещи, — с обидой возразил сын. — Каменные стены, глухой двор. Я уже не в силах выносить, хотя пытаюсь.

Под скорбным взглядом матери он стал оправдываться.

— Мама. Я люблю ее. Не мог к ней не пойти. Пойми. А эти казарменные опекуны увязались за мной. Пришли к ней на квартиру.

— Но ты же ушел из части самовольно.

— Могли вызвать меня из дома деликатнее.

— Что было потом?

— Я вспылил...

— То есть начал ругаться? В ее присутствии?

— Думаю, она меня поняла.

— А я думаю, ей еще нужно учиться понимать. Многое, очень многое. — Слезы залили глаза Ксении Игнатьевны, и она отвернулась. — Что еще?

— Я убежал от них, сел в машину...

— И чуть не задавил мальчика. Сколько горя, боли ты принес мне, людям, которые хотели помочь тебе стать человеком...

Ксения Игнатьевна говорила тихо, сквозь слезы, скорее упрекая себя, чем сына, но ему показалось, что она прощается с ним, отказывается выручать его.

— Мама! — в испуге закричал он. — Мама! Что ты говоришь?

Ксения Игнатьевна схватилась руками за спинку стула, встала, через силу выпрямилась. Во всей ее фигуре было столько горя, словно она только что бросила горсть земли в могилу того, ради кого только и жила. Сын в смятении смотрел на мать и не верил, что она отказывается защищать его. Когда Ксения Игнатьевна отошла к двери, он визгливо крикнул:

— Мама!

— Что? — Ксения Игнатьевна качнулась.

— Ты не хочешь мне помочь?

— Ради чего? Вчера чуть не искалечил ребенка, что завтра? Лучше пережить один раз...

— Оставляешь меня в самую тяжелую минуту? Где же твоя материнская любовь?

— А где твоя, сыновья?! — спросила Ксения Игнатьевна с такой болью и горем, что сын оторопел, и призраки суда и тяжкой службы еще год или два в дисциплинарном батальоне жестким январским морозом поползли ему под рубашку. Он весь сжался, посерел. Только теперь до него стала доходить своя преступная легкомысленность и все то горе, которое он принес матери и которое сейчас она не смогла удержать в себе. Только собрав в себе остатки того доброго, что в нем осталось, он решился еще раз попросить мать о помощи:

— Если сможешь, помоги мне, мама, хоть чем-нибудь. В последний раз. Без твоей любви я пропаду. Постараюсь больше не приносить тебе горя. Поверь. Прошу.

Так настойчиво и страстно сын никогда не просил ее, и Ксения Игнатьевна метнулась к нему, обхватила его голову. По силе, с которой прижала его к себе мать, Губанов почувствовал, что она его любит по-прежнему, но в этой любви ощущалась требовательность, которая не простит ему еще одной обиды.

Открыв дверь, Горин пристально посмотрел на Губанова. Тот вскочил и принял строгую стойку. Проходя мимо, комдив заглянул ему в глаза. Солдат выдержал, не отвел взгляд. У стола Горин обратился к Ксении Игнатьевне:

— Я задам вашему сыну несколько вопросов. При-

сядьте. Скажите, — перевел Горин взгляд на Губанова, — вы понимаете тяжесть своего проступка?

— Понимаю.

— И что вам может быть за него?

— Да, дисциплинарный батальон.

— Что ж... попробую поверить вам еще один, и последний, раз. Ради матери и отца вашего. Но знайте: оступитесь, все вам припомнится и мера наказания будет умножена. Можете идти.

Бесшумно закрылась дверь, Горин и Ксения Игнатьевна снова остались одни. Помолчали. Михаил Сергеевич спросил:

— Что намерены сегодня делать?

— Схожу к родителям девушки сына. Поговорю.

— Хорошо. Вас подвезут на моей машине.

— Спасибо.

Ксения Игнатьевна встала и медленно пошла к двери.

Вошел Сердич.

— У меня в кабинете... Лариса Константиновна, — проговорил он, запнувшись. — Она хочет поговорить с вами.

Горин хотел пойти сам к ней, но возникшая в нем скованность заставила задержаться.

— Хотел спросить вас и забыл: как отнеслись инспектирующие к вашему начинанию по НОТ?

— Хорошо. Доложили Лукину. Сказал, пусть кумекают. Так что можем развернуть поиски шире.

— Давайте соберем людей и обстоятельно поговорим. Готовьте доклад. А теперь проводите ко мне Ларису Константиновну.

Раздался несмелый стук. На пороге показалась Лариса Константиновна. Вид ее, как всегда, был чем-то необычен и поразил Горина. Одета она была в светло-серый, строгий и удивительно шедший к ней костюм. Особенно к выражению лица, тоже собранного и строгого и все же, не жесткого, наоборот, какого-то доброго и глубоко уставшего.

Михаил Сергеевич пошел ей навстречу. Когда поздоровались, на ее лице под тонким слоем пудры различил пепельные тени и догадался, каких трудов ей стоило и стоит скрыть от посторонних семейные невзгоды.

— Вы, кажется, не ожидали моего прихода?

— Не ожидал, — признался Горин. — Несчастья както закрутили, завертели меня, и я забыл о существовании друзей.

— А я пришла. Не могла не прийти. Захотелось, насколько удобно и возможно, именно сегодня сказать вам спасибо за терпение к мужу.

— Спасибо и вам.

— Чем все это может кончиться для вас? — спросила тихо Лариса Константиновна.

— Надеюсь, разберутся, поймут.

Лариса Константиновна дотронулась пальцами до узла косы и в этот момент взглянула на Горина тем взглядом, в котором выразились стыд, безвыходность, просьба понять ее и отнестись без обиды, если она когда-либо причинила ее ему. Горин хотел помочь ей, сам заговорить о судьбе ее мужа, она опередила его.

— Скажите, Михаил Сергеевич, как велики вина и беда моего мужа?

— Насколько можно судить по рассказу очевидца, беда случилась от растерянности Геннадия Васильевича, он долго решался, чей приказ выполнять, мой или Амбаровского. Расценить это могут по-разному.

— А вы?.. — замерла Лариса Константиновна.

— Я? Я и Знобин решили ему помочь. Думается, он понял, чем болен. Надо дать время поправиться.

— Спасибо, Михаил Сергеевич. Об этом я хотела просить вас. Понимаете, как трудно мне было решиться на это?

— Почему?

— Мне казалось, вы все еще в обиде на меня — после моего приезда не пришли к нам.

— Не из-за вас. Я не хожу в гости к тем, с кем еще ясно не определились отношения. Наше прежнее знакомство или нечто большее могло усложнить их.

— Для меня до сих пор, Михаил Сергеевич, загадка, — облегченно вздохнула Лариса Константиновна, — почему еще там, в академии, вы так резко изменились ко мне?

Горин грустно улыбнулся.

— От любви до ненависти тоже бывает всего один шаг. Часто необдуманный и потому особенно горький. Пока я был для вас только слушатель, я терпеливо ждал, когда смогу пригласить вас в театр, на концерт. Дождал-

ся, вы ввели меня в свою семью, и вдруг однажды отказались со мной идти в театр. Я тоже не пошел. И увидел вас в Сокольниках. Не одну.

— Не помню, с кем я могла быть.

— Такой высокий, изящный. В сравнении с ним я показался себе невзрачным мальчишкой.

— А... это был полковник Другов. Сын очень близкого товарища папы, — вспомнила Лариса Константиновна и посмотрела на свои руки, раздумывая, говорить ли Михаилу Сергеевичу все или только то немногое, что снимало бы с нее вину за разрыв их дружбы. Этим немногим могли быть слова: нельзя отказать в просьбе человеку, надолго покидающему страну, побыть с ним один-два вечера вместе. Но в них была не вся правда, и желание как-то оправдаться рядом с искренней доброжелательностью Михаила Сергеевича ей показалось мелким. Виновато вскинув глаза, Лариса Константиновна призналась:

— Он знал меня девочкой. После возвращения из-за границы встретил совсем взрослой и по-родному, по-русски, как он позже сказал, интересной. Интересен и он был мне: знал пять языков, изъездил всю Европу... И туда же возвращался. Надолго. Он не мог ничего обещать и не хотел, чтоб его ждали. Поэтому кроме хорошей дружбы между нами ничего не могло быть. Тот вечер, когда вы нас увидели, был в сущности одним из прощальных. Отказать ему я не могла, хотя он и не очень настаивал. Советовал даже предупредить вас, но я этого не сделала.

— Что ж... несбывшегося не вернешь.

От признания, хотя и запоздалого, обоим стало и тепло, и грустно. Хотелось молчать, и они молчали. Каждый думал: «Если бы это объяснение состоялось раньше, в молодости! Насколько все было бы лучше! Но сейчас, когда молодость позади, пусть все, что было между нами, останется только воспоминанием».

— Надеюсь, Михаил Сергеевич, теперь вы не будете обходить нас?

— Не опасно? — скупо улыбнулся Горин.

— Ничего менять ведь мы не будем?

— Нет.

— Тогда пусть нас извинят, если мы изредка поговорим как давние друзья.

Лукин терпеть не мог жалобщиков. И вот неожиданно на прием к нему с жалобой попросились сразу два полковника, фамилии которых даже не упоминались в разборе и, следовательно, им ничего не грозило. Пришлось принять. Когда они вошли, генерал просверлил их недружелюбным взглядом. Сам не сел и им не предложил.

— Слушаю вас.

Начал Амирджанов:

— Мы по делу полковника Горина.

— Почему он не приехал сам?

— Считает неудобным защищать себя.

— А... Ну выкладывайте, каким образом думаете защищать его вы.

Амирджанова раздражала насмешливая придирчивость генерала, и его голос налился медью.

— Для дивизии полковник Горин — все, ее честь и совесть. Очерните его — запачкана будет вся дивизия.

Дерзко-требовательная защита Горина подчиненными задела Лукина. Выходило, он тоже виноват в том, что у кого-то сложилось о комдиве неважное мнение. Но видя, что его хмурый взгляд лишь подтянул, а не утихомирил полковников, он простил им запальчивость — любят своего командира и любят, кажется, по-настоящему.

— Садитесь, — подобрел он. — И подавайте мне только факты.

Сердич развернул карту, раскрыл папку с документами. Лукин внимательно изучил любовно отделанную карту, затем просмотрел документы. На каждом была пометка посредника. Действительно, тот не преувеличивал достоинств и командира и его штаба. Генерала еще раз порадовал изящный маневр, который совершил полковник Берчук со своим полком. Задержался на радиограмме. Куцая, обрубленная, она предоставляла право командиру действовать по-своему, хотя при желании и можно было понять, чего от него требовал Амбаровский. Умышленно или нет комдив пошел на риск — не это сейчас самое важное. Главное, комдив умен. Лишь бы не начал злоупотреблять, щеголять самостоятельностью. Поговорить с ним, узнать лучше, при надобности предупредить: устав — свод правил с допустимыми исключениями, но нельзя исключения делать правилами.

Лукин поднял голову.

— Все ясно. Решение мое узнаете завтра на разборе. За факты спасибо, они помогли мне кое-что уточнить.

Решение окончательное и бесповоротное уже было принято. Генералу лишь хотелось убедиться, поймут ли его справедливость и необходимость два человека — два генерала.

Первым вошел Амбаровский, четко, внешне уверенно, подав корпус вперед, вторым — Герасимов, чуть сзади и робко.

— Садитесь, — Лукин встал, закинул руки за спину и принялся ходить по комнате.

— Так. Успели подумать над своими решениями на учении?

— Да, товарищ генерал армии, — ответил за обоих Амбаровский.

— К каким же мыслям пришли? Ну, хотя бы по решению, которое вы приняли в районе полигона?

— Решение, товарищ генерал армии, не лучшее, — упреждая начальника штаба, начал Амбаровский, — но вполне допустимое. Выделив больше сил для отражения контрудара с места, я мог нанести более ощутимые потери противнику и затем наверстать потерянное время путем усиления темпа наступления.

— А как думаете вы, начальник штаба?

— Решение, по которому пришлось действовать войскам корпуса, — начал Герасимов, загоняя неуверенность подальше внутрь себя, — было, действительно, не лучшим.

— Почему?

— Перейдя к обороне большей частью войск первого эшелона, мы потеряли темп развития боя и тем самым позволили противнику создать для себя наиболее благоприятные условия применения решающих средств поражения...

— Именно. Но сам по себе переход к обороне в этой обстановке тоже допустим. Беда в другом. Вы распылили силы, не сумели сохранить группировку войск для возобновления наступления, а противник еще до начала контрудара без особого труда разгадал, что вы остановитесь. Этого бы не получилось, если бы вы к своему замыслу добавили хорошую хитринку, оригинальный отвлекающий маневр, дерзкое действие хотя бы одного полка или еще

что. В каждом бою свое, неповторимое. Военное искусство — оно тоже настоящее и сложное, требует таланта и мастерства. И чем выше занимается должность, того и другого в командире должно быть больше.

— Если бы полковник Горин, — попробовал Амбаровский хоть чуть-чуть уменьшить свою неудачу, — выполнил мой приказ...

— Все получилось бы во много раз хуже. Имея меньше данных, он лучше вас понял обстановку и спас корпус от тяжелых последствий.

Лукин налил в стакан воды, сделал несколько глотков и продолжал:

— На вашем месте я бы давно обласкал Горина, а не валил на него свои промахи. И еще... мне очень не понравился ваш «маневр» полком Аркадьева, — язвительно нажал Лукин на слово «маневр». — Хорошее хорошо показать негрешно, а сомнительное выпячивать, вы сами, я думаю, знаете как это называется. Так что, — генерал Лукин сделал остановку перед тем, как объявить свое решение Амбаровскому, — вам надо хорошо подумать о многом и освежить свои знания. Буду рекомендовать вас на высшие академические курсы. Потом будет решено остальное.

— Илья Захарович! Каждый человек не застрахован от ошибок, особенно если он еще не утвердился в новой должности. Прошу вас представить мне возможность изменить ваше мнение обо мне.

Генералу армии послышалось, что Амбаровский обижен: что-что, а военное дело знаю и смогу командовать не хуже других. Лукин пронзил его своим колючим взглядом. Нет, кажется, думает оправдываться только делом. Смягчившись, Лукин ответил:

— После окончания курсов. Запомните одно незыблемое военное правило: возможность исправлять ошибки представляется тем командирам, которые подали очень большие надежды. Наши ошибки — десятки тысяч смертей. Если каждому позволить допускать их — слишком много будет сирот и вдов.

Теперь решим, что делать с вами, генерал Герасимов. Ум у вас есть, но военному человеку надобны и воля, крепкий, заматерелый хребет. У вас он еще хрящеватые. Мало командовали. И давно. Предлагаю поработать командиром дивизии, чтобы зацементировать свою волю.

Дивизию получите хорошую. Надеюсь, не сделаете ее плохой.

— Постараюсь, — согласился Герасимов.

После разбора, в меру доброго и местами гневного, генерал Лукин пригласил к себе Горина. Завидев в дверях полковника, полной рукой показал на стул.

— Пригласил вас ближе познакомиться. Но прежде скажите ваше мнение об Аркадьеве.

— Незадолго до учения пришлось ломать ему характер. Новый он еще не обрел, потому так неуверенно командовал.

— Без вас он сможет стать разумным командиром?

Горин насторожился.

— Не понимаю вас.

— Объясню потом.

— Сможет.

— Тогда быть по-вашему. Хотел спустить на работу, где отвечать нужно только за бумаги. — И тут же быстро взглянул на Горина: — Еще один вопрос: ваша оценка решения, которым вы изменили задачу, поставленную старшим.

— Желательно, чтобы такие решения были исключением из правила, но... в современных условиях не так уж редким.

— Теперь я поясню свой первый вопрос. Я намерен рекомендовать вас на должность начальника крупного штаба. Не предлагаю в заместители, потому что хочу, чтобы вы остались таким, каким я вас узнал. От долгого командования людей порой кособочит, они слишком привыкают повелевать и перестают замечать, где он — это он, а где всего лишь выразитель ума и труда десятков, сотен и тысяч подчиненных. Верю, этой болезнью не заболеете.

— Благодарю за доверие.

— Вот и хорошо. Умный человек всегда идет на дело, а не на должность. Повторю еще раз свое пожелание. Вы не стремитесь к выгодам от своего ума, умеете ценить способности других и... пока в вас не чувствуется дурная манера: я начальник и никому ни на минуту не позволю забывать об этом. Постарайтесь оставаться таким же на любой из высоких должностей, которые открываются перед вами.

Николай Федорович Наумов

ПОЛКОВНИК ГОРИН

Повесть

Редактор *Рудин М. З.*
Художннк *Гритчин Л. В.*
Художестаенвый редактор *Гречихо Г. В.*
Техническнй редактор *Соколова Г. Ф.*
Корректор *Мелеткина А. Н.*

Г.73112. Сдано в набор 16.3.70 г. Подпнсано к печатн 16.09.70 г.
Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Печ. л. $6^{3}/_{4}$. (Усл. печ. л. 11,34). Уч.-изд. л. 11,805
Бумага тнпографская № 2. Цена 53 коп. Тнраж 100 000 экз.
Изд. № 4/4012 Зак. 89

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство Мнннстерства обороны СССР. Москва, К-160
1-я типографня Воеинздата
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Военное издательство просит присылать отзывы об этой книге по адресу: Москва, К-160.

ПРИОБРЕТАЙТЕ КНИГИ В МАГАЗИНАХ
„ВОЕННАЯ КНИГА",
В КНИЖНЫХ КИОСКАХ ВОЕНТОРГОВ,
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО,
ДО ВЫХОДА ИЗ ПЕЧАТИ

Книги Военного издательства можно приобрести также по почте наложенным платежом (на домашний адрес или «до востребования»), направив заказ «Военная книга — почтой» по адресу:

Алма-Ата, ул. Шевченко, 108.

Ашхабад, ул. Ленина, 32/20.

Владивосток, Ленинская, 18.

Киев, Красноармейская, 10.

Куйбышев, Куйбышевская, 91.

Ленинград, Д-186, Невский, 20.

Львов, проспект Ленина, 35.

Минск, ул. Куйбышева, 16.

Москва, А-167, Красноармейская, 18а.

Новосибирск, Красный проспект, 61.

Одесса, Дерибасовская, 13.

Петрозаводск, ул. Гоголя, 22.

Рига, Б. Смилшу, 16.

Ростов-на-Дону, Буденновский, 76.

Свердловск, ул. Ленина, 101.

Севастополь, Б. Морская, 8.

Североморск, ул. Сафонова, 14.

Тбилиси, пл. Ленина, 4.

Хабаровск, ул. Серышева, 11.

Чита, ул. Ленина, 111/а.

Ташкент, ул. К. Маркса, 28.

Фрунзе, ул. Иваницина, 108.